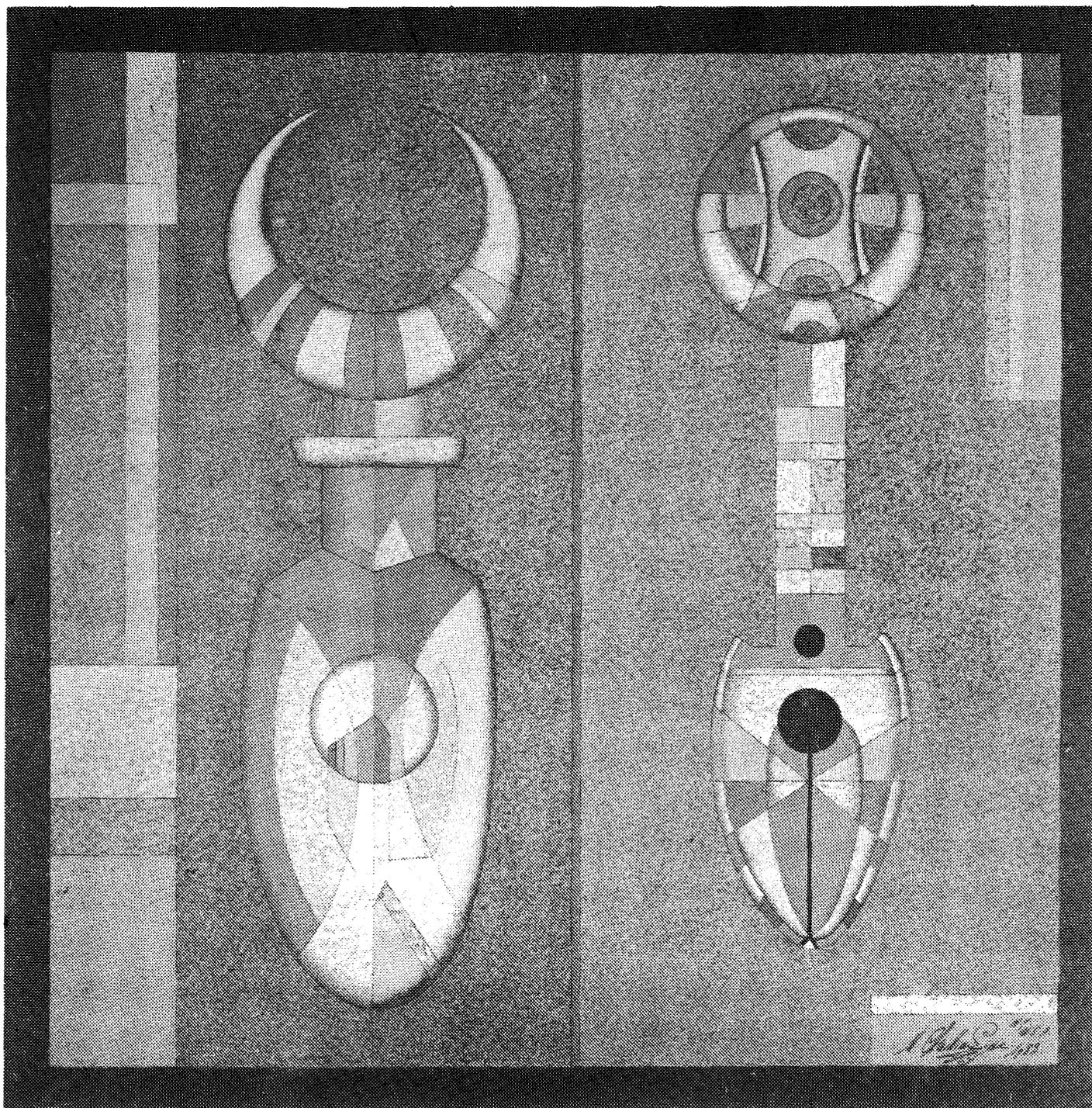


# СТРЕЛЕЦ

март 1985

«Стрелец» — ежемесячник литературы, искусства и общественно-политической мысли

3



\$3.50

**СТАРЕЙШАЯ В МИРЕ И ЕДИНСТВЕННАЯ В ЗАРУБЕЖЬЕ  
РУССКАЯ ЕЖЕДНЕВНАЯ ГАЗЕТА**

# **НОВОЕ РУССКОЕ СЛОВО**

**Главный редактор АНДРЕЙ СЕДЫХ.**

**Информация, политические статьи, материалы Самиздата, экономика, наука.  
Статьи о театре, кино, музыке, живописи, рецензии на новые книги.  
Повести, рассказы, стихи, документальные и исторические очерки,  
путевые заметки.  
Новости спорта.**

**В каждом номере — множество снимков, получаемых от крупнейшего в мире  
информационного агентства «Юнайтед Пресс Интернейшенал».**

## **СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ:**

Ежедневное издание

**На год — 80 долларов  
На 6 месяцев — 45 долларов  
На 3 месяца — 29 долларов  
На 1 месяц — 10 долларов**

Воскресное издание только

**На год — 30 долларов  
На 6 месяцев — 17 долларов**

**Адрес: Novoye Russkoye Slovo.  
519 8th Ave., New York, N. Y. 10018. Тел.: (212) 564-8544.**

**3**

март 1985

Директор  
МАРИ КОШЕНГлавный редактор  
АЛЕКСАНДР ГЛЕЗЕРХудожественный редактор  
ВИТАЛИЙ ДЛУГИЙФото:  
НИНА АЛОВЕРТ  
АРТУР ВЕРНЕР  
ЛЕВ НИСНЕВИЧPUBLISHERS: Third Wave Publishing house, a project of  
(C.A.S.E.) the Committee for the Absorption of  
Soviet Emigrees, 80 Grand Street  
Jersey City, New Jersey 07302  
Arthur Abba GOLDBERG, Chairman.

Адрес редакции в США:

ALEXANDER GLEZER  
286 Barrow St., Jersey City, NJ 07302  
U.S.A.Адрес редакции во Франции:  
Alexandre Gleser  
Chateau du Moulin de Senlis  
92130 Montgeron  
FranceЦена номера — \$3.50 28F. 9D.M.  
Годовая подписка — \$36.00 336F. 107 D.M.

Просьба добавлять на пересылку \$1

Подписчикам журнал доставляется  
за счет редакцииTHIS PROJECT IS DONE AS A PUBLIC SERVICE FOR  
RUSSIAN SPEAKING INDIVIDUALS THROUGHOUT THE  
WORLD INTERESTED IN THE CAUSE OF HUMAN  
RIGHTS AND FREEDOM FOR INDIVIDUALS. FOR ADDI-  
TIONAL INFORMATION CONTACT JUDITH M. WHITE  
AT 80 GRAND STREET, JERSEY CITY, NEW JERSEY  
07302. PHONE #201-332-7962.

© 1984 by "Strelets" All rights reserved

Library of Congress Catalog Card No; 84-8582  
ISSN; 0747-7287

- 4 ЗОЯ АФАНАСЬЕВА — «Я НЕ ЛЮБЛЮ  
ПАРАДНЫЙ ПЕТЕРБУРГ...». СТИХИ
- 6 ЮРИЙ МАМЛЕЕВ — ПРИКОВАННОСТЬ.  
РАССКАЗ ТИХОГО ЧЕЛОВЕКА
- 7 ДМИТРИЙ САВИЦКИЙ — ИЗ КНИГИ  
«ОСКОЛКИ». СТИХИ
- 9 ВАДИМ НЕЧАЕВ — ДВОЙНОЙ ПОРТРЕТ.  
РОМАН. ОКОНЧАНИЕ
- 18 ВАЛЕНТИНА СИНКЕВИЧ — ДВА  
СТИХОТВОРЕНИЯ
- 19 ВАСИЛИЙ БЕТАКИ — ДВЕ КНИГИ  
НОВЕЛЛЫ МАТВЕЕВОЙ
- 21 АЛЕКСАНДР ЛАЗАРЕВ — ДНЕВНИК  
«ПОЛИТИКА»
- 23 ГАЙТО ГАЗДАНОВ — ВЕЛИКИЙ  
МУЗЫКАНТ. ПОВЕСТЬ. ОКОНЧАНИЕ
- 29 ОСКАР РАБИН — ТРИ ЖИЗНИ.  
ВОСПОМИНАНИЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ
- 38 БЕСЕДА С ВИКТОРОМ НЕКРАСОВЫМ
- 42 ЖАН ОДИЖЬЕ — НЕПОВТОРИМЫЙ  
НОВАТОРСКИЙ ДУХ (О ТВОРЧЕСТВЕ  
МИХАИЛА ШЕМЯКИНА)
- 47 А. ДАВЫДОВ — АМЕРИКАНСКИЙ ЮБИЛЕЙ  
И РУССКИЕ ХУДОЖНИКИ

ОТ РЕДАКЦИИ

Пять лет длится необъявленная война в Афганистане. Пять лет советский, так называемый, ограниченный контингент войск пытается подавить волю афганских патриотов, которые отстаивают в неравном бою свободу и независимость своей родины. Советская армия безжалостно расправляется не только с бойцами афганского сопротивления, но и с мирным населением. Тысячами исчисляются и погибшие молодые советские солдаты, посланные на бесславную войну кремлевскими старцами. Многие солдаты и сержанты советской армии, осознав, что их обманули, что им приходится сражаться не с мифическими американскими или китайскими интервентами, а с афганским народом, сдаются в плен. Благодаря усилиям эмигрантских организаций и западных общественных деятелей, некоторым советским пленным удалось выбраться на Запад. К сожалению, часть из них, поддавшись на советские провокации и уговоры, вернулась в СССР. Конечно, их возвращение сначала используется советской пропагандой, а затем ребята бесследно исчезают.

«Вся страна — одна большая зона» — так называется одна из кассет Владимира Высоцкого. Где эти вернувшиеся — в лагерях или загнаны куда-то в глухую провинцию? Их, жертв советской авантюрной политики и бесчеловечной системы, можно только пожалеть.

В следующем номере журнала мы предложим вашему вниманию публицистику Фатимы Салказановой, ее комментарии к статье «Возвращение», опубликованной в газете «Известия». В этой статье речь идет о двух советских солдатах, бывших пленниках, которые вернулись в СССР и, как положено, принялись разоблачать Запад. Фатима Салказанова в свое время встречалась с этими солдатами в Пакистане и брала у них интервью для радиостанции «Свобода».

1.

*Декабрь, раскольник, старовер,  
Я оступилась на пороге,  
Я отступилась от дороги,  
Войдя в потусторонний сквер  
Метели белое тавро  
Прожгло деревьям лбы и спины,  
Бредут с котомками осины  
Не в сквер, а в северный острог...  
И отступившись от всего  
Им ничего теперь не жалко...  
Декабрь, – я тоже каторжанка  
На каторге твоих снегов!*

2.

*Не мне "глядеть в глаза семи морей"\*,  
Смотрю в одно единственное море.  
Как в зеркало слепой судьбы своей –  
Не спрашивай, любимый, о Босфоре.  
Державен дух, – но, горе! – плоть хрупка,  
Так инородно собственное тело,  
Что чужестранкой правая рука  
Все норовит сместиться круто влево.  
Подводным рифом ранена ступня,  
Бродяжий посох вдруг не зацветает,  
Тень Судного спасительного дня  
Над кельей чернокнижника витает...  
Как глянешь ты в глаза семи морям?  
Я в черноте все очи проглядела.  
Спит тот старик: ослеп его маяк,  
Жизнь коротка, а ночи нет предела...*

Из стих. В.Б. "Капитан"

3.

*С карточки смотрит девочка  
В придурковатой мгле,  
Простоволосой ведьмочкой  
Скачет на помеле...  
Прошлое нас не мучает,  
Времени мрачен спектр,  
В небытие дремучее  
Двигается твой проспект.*

*Плечи твои ссутулятся,  
Дочки твои подрастут...  
Чью-то другую улицу  
Ольгинской назовут...  
Там за ее границами  
Чудо из всех чудес:  
Горько воспетый птицами  
В трауре  
зимний лес!*

4.

*Заворожен и зачарован  
До боли, до сердечных ран...  
Спеши, Наталья Гончарова,  
Покинуть строй ампирных рам!  
И околдован и засвечен  
В посконном снеге псковских сел  
Ее побег уже замечен  
И в протоколы занесен!  
Заполонен и окольцован –  
(зима стояла на дворе!)  
Развязка зрела под канцону  
Ее пленительных бровей,*

*Освобожден – разочарован  
До боли, до сердечных ран...  
Вернись, Наталья Гончарова,  
В небытие ампирных Рам!*

5.

*Путешествие в Павловск на сытых моих рысаках,  
Быстроногость езды по укатанной барской дороге,  
Крутолобой горы далеко не пигмейский раскат,  
Отступление в тыл затаившейся в теле тревоги...  
Этот, прямо на улице, сивый березовый лес,  
Тополиное племя стреноженных вьюгой бульваров,  
Коротает свой век на завалинке стриженный бес,  
Чтобы в тартарары не слететь с голубых тротуаров,  
Золотого интима трескучий костра говорок,  
Позапрошлых свиданий раскрытые настезь ворота,  
И – любимого друга исходный, лихой кувырок,  
И прощальный платок вон за тем удалым поворотом...*

6.

*Расставание с белой зимой  
Преждевременной смерти подобно,  
Я жила в этой стуже подробно,  
Глубоко оставаясь собой.  
Что любовь? Затянулась петлей,  
Архаично понятие "выя"!  
Ядовитые стрелы Батыя  
Губят всех, обрученных с землей...*

7.

*Образ этого края,  
Злая даль бездорожья,  
Нас забвеньем карает,  
Песнопеньем острожным,  
И грозит на рассвете  
Отлученьем от дома,  
Где растут наши дети  
И стареют мадонны...*



ЗОЯ АФАНАСЬЕВА

«Я НЕ ЛЮБЛЮ ПАРАДНЫЙ  
ПЕТЕРБУРГ...»

Цикл первый  
Стихи к Василию Бетаки

1.

Мне говорят – свобода?  
А что мне делать с ней?  
Толочь ли в ступе воду  
Среди трудов и дней?  
Что было, то уплыло,  
Полынью поросло,  
Какой нечистой силой  
Вас мимо пронесло?  
Я не кричу останьтесь,  
И савана не шью,  
С моих небесных станций  
Вам позывные шлю...



2.

Я выпала сегодня из гнезда  
Нелепого пристанища петрова,  
Воскресная опавшая звезда  
В руке горит рождественской обновой,  
Но старцев запоздалые дары  
Суровый храм отныне не приемлет,  
Да здравствуют среди чумы – пиры  
Хворобой унавоженные земли,  
Нет возвращенья к птичьему жилью,  
К пернатому, посконному гнездовью,  
Смирненную и постную кутью,  
Мою надежду и одежду вдовью  
Нет, не вмещает опустелый храм,  
Взалкали перетруженные своды,  
Но праздничный пронзителен хорал,  
Как в первый день – в последний день свободы.

5.

Не к боярам в Москву, и не в барскую Тверь...  
Не окно прорубил – приоткрыл только дверь...  
Финский ветер дразнил и хлестал сгоряча  
И рыдала волна у царева плеча.  
И висела над городом желтая муть:  
Петербург, не оставь! Петербург, не забудь!

3.

Плен татарский на вымерших фресках,  
Зафиксирован кистью отменной,  
Обозначена ненависть резко  
И предел униженью отмерен,  
Христианские лица померкли,  
Но нетленна на стенах неволя,  
И откуда-то с самого верха  
Продиктована ханская воля...  
Ах, она темнокарего цвета,  
Зелены ее звонкие плети,  
И чернее любого навета  
Крик в обхвате веревочных петель,  
Но попытка побега степного  
За кордоны Батыевы, через –  
Твердокаменность мира стеного  
Обратилась в малярскую ересь!  
Здесь герой – мой затравленный пращур,  
Здесь – пылает земля под ногами,  
Упыри с вурдалаками пляшут  
Под разбойничий посвист нагаек...  
(Ярославль. "Ереси")

4.

Я не люблю парадный Петербург.  
Царей российских римские затылки,  
И тощих шишей золотые вилки  
Во мне рождают не восторг – испуг.  
Викторианский скрежет колесниц,  
Мемориальность триумфальных танков,  
Скупые жесты бронзовых десниц  
Одетый камнем департамент тайный...  
Все это прокаженные черты  
Казенной, квазимодовой эпохи,  
Ее дела как в судный день черны,  
Да и мои, признаться, тоже плохи,  
Вот почему державная Нева  
Напоминает ледяную Лету,  
И знаю я: Бог призовет к ответу  
Не зная, в чем она, моя вина...

(Царское село)

Цикл второй  
Провинциальные стихи

Юрий Мамлеев



# ПРИКОВАННОСТЬ

(РАССКАЗ ТИХОГО ЧЕЛОВЕКА)

ПОЧЕМУ ВСЕ ЭТО ПРОИЗОШЛО ИМЕННО СО МНОЙ, МНЕ ПОПЫТАЛСЯ ОБЪЯСНИТЬ ОДИН ЩУПЛЫЙ, ОБЛЕВАННЫЙ ЧЕМ-ТО НЕСУСВЕТНЫМ СТАРИЧОК, ОТОЗВАВШИЙ МЕНЯ ДЛЯ ЭТОГО ЗА УГОЛ ОБЩЕСТВЕННОГО ТУАЛЕТА, ВО ТЬМУ.

Он прошептал, что мой ангел-хранитель сейчас не в себе и ушел странствовать в другие, нелепые миры. От этого-то я и не могу никуда двинуться.

А началось все с того, что мне рассказали одну сугубо телесную историю.

Жила на свете некая Минна Адольфовна, серьезная врачиха и весьма полная баба. Жила она одна, но без мужа не была, потому что денег получала уйму. Любила жить в чистоте, широко и от внешнего бытия брать одни сливки. Было ли у нее что-нибудь внутреннее? Кто знает. Но один ее любовник говорил, что она могла неслышно икать, вовнутрь себя, распространяя смысл этого икания до самого конца своего самобытия. Иногда похлопывала себя по заднице и читала немецкие книжки.

Так вот, недавно ее разбил паралич; причем почти намертво, так что она лишилась речи, всех серьезных телодвижений, какой-то части сознания и лежала на кровати, безмолвная. Говорили, что она так может пролежать лет пятнадцать. Пенсию она стала получать большую, и так как была совсем одинока, то назначили к ней от ее учреждения нянечек, которые тихо и покойно подбирали за ней дерьмо, меняли обмоченные простыни, кормили чем Бог пошлет.

Через месяца два ее в прошлом богатенькая комната стала почти пустой, так как нянечки и медсестры все обобрали, а Минна Адольфовна могла только молча за этим наблюдать...

Я выслушал эту историю где-то в пригороде, на окраине, в грязном замордованном сквере, поздно вечером...

Отряхнувшись, я пошел к далекому, невзрачному столбу, и в небе передо мной встал образ Минны Адольфовны, обреченной одиноко лежать среди людей пятнадцать лет. "Ку-ка-

реку!" — громко закричал попавшийся мне под ноги петух.

И вдруг вся тоска и неопределенность жизни перешли в моем сознании в какое-то неподвижное и неприемлющее остальной ужас решение. Я уже твердо знал, что пойду к Минне Адольфовне и буду ходить к ней каждый день, из года в год, тупо проводя около нее почти всю свою жизнь.

Вскоре я уже нелепо стучался в ее дверь; соседка впустила меня, и я увидел почти голую комнату — сестры милосердия вывезли даже мебель, — в которой были, правда, одна кровать с Минной Адольфовной, тумбочка, гитара и ночной горшок. Минна Адольфовна могла делать только под себя, в судно, и ночной горшок стоял вечно-пустой, как некое напоминание.

Я остался вдвоем с Минной Адольфовной, но стоял около двери, у стены. Она сонно и животно смотрела на меня остекленевшими глазами. Я не знал, что делать, и внезапно запер дверь. Подошел к ней поближе и вдруг похлопал ее по жирному, огромному животу. Она не испугалась, только челюсть ее чуть отвисла, видимо от удовольствия.

— Ну что ж, Минна Адольфовна, начнем новую жизнь, — закричал я, бегая по комнате и потирая руки. — Начнем новую жизнь!

Но как нужно было ее начинать?!

Я сел в угол и начал с того, что просидел там три часа, неподвижно глядя на тело Минны Адольфовны.

А за окном между тем медленно опускалось солнце. Его лучи скользили иногда по животу Минны Адольфовны. А серая тьма наступала откуда-то сверху. Вдруг Минна Адольфовна с трудом чуть повернула голову и устала на меня тяжелым, парализованным взглядом.

Я почувствовал в ее глазах, помимо этой тяжести, еще и смутное беспокойство и попытку объяснить себе мое присутствие. Она знала, что у нее больше нечего красть, и боялась, по-видимому, что теперь ее будут есть. (Говорили, что

одна юркая старушка, кормя ее, пол-ложки отправляла себе в рот.)

Наконец, в ее глазах не осталось ничего, кроме холодного любопытства. Потом и оно уснуло. Она уже смотрела на меня мутно, нечеловечески, и я отвечал ей таким же взглядом. В конце концов, встал, зажег свет.

Она издала слабое "ик", больше животом.

И вдруг подмигнула мне большим, расплывающимся глазом. Мне показалось, что она захлопнула меня в свое существование.

Вскоре я бросил работу, жену, карьеру, потом порвал все душевные связи...

И с этих пор уже десять лет каждый день я прихожу в эту комнату, расставаясь с ней только на ночь. Минна Адольфовна подмигивает теперь только безобразной черной мухе, ползающей у нее по потолку.

Но я не обижаюсь на нее за это. Мы по-прежнему смотрим друг в друга. Я навсегда прикован к ее существованию. Иногда она кажется мне огромным черным ящиком, втягивающим меня в свою неподвижность.

Откуда эта странная прикованность?

Я понял только, что она спасает меня от этого мира: я потерял к нему всякий интерес, раз и навсегда, как будто черный ящик может заменить самодвижение. Но она спасает меня и от потустороннего мира, потому что и в нем есть движение. Я ушел от всех миров в эту прикованность, точно душа моя прицепилась к этому застывшему жирному телу.

Почему же иногда Минна Адольфовна плачет, в полутьме, невидимо, внутрь себя, словно в огромный, черный ящик на миг вселяются маленькие, светлые ангелы и мечутся там из стороны в сторону?

Неподвижность, одна неподвижность преследует нас.

Иногда, в моменты тоски, мне кажется, что Минна Адольфовна — это просто тень, тень от трупа моей возлюбленной.

Но постепенно у меня становится все меньше и меньше мыслей. Они исчезают. Одна неподвижность сковывает мое сознание, и все существование концентрируется в одну точку.

И, возможно, меня точно так же разобьет паралич и полностью обезмолвит, на десятилетия, на всю жизнь. И я уже знаю, что какой-то влажный от ужаса, взъерошенный молодой человек с сонными глазами наблюдает за мной.

Он ждет, когда меня разобьет паралич, чтобы точно так же присутствовать в моей комнате, как я присутствую в комнате Минны Адольфовны.

## ДМИТРИЙ САВИЦКИЙ

1.  
застенчивый нахал на глотку взявший мир  
кумир ленивой крови генеральских  
распухших дочек. вкрадчивый вампир  
внимания извне. и маломальских  
простудных сквознячков ума —  
усвоив опыт гальский  
Бретона — все же дважды два  
затверженное в Питере однажды  
спасает ли на 23-й стрит от жажды?

вода открытая для пеня на кухне  
течет пока мы в зеркале старше  
пока мы пьем и с перепоя пухнем  
и у сосцов волчицы млеем  
вода поет свиваясь серебром  
пока мы жирным дымом тлеем  
пока мы переводим шепот в гром

но ты-то! ты! жить отказавшись в паутине  
российских дряг — в какой ты взнешь тине  
кому грозишь обломанным веслом?

Коктебель 75 г.

## ИЗ КНИГИ «ОСКОЛКИ»



СТИХИ РАЗНЫХ ЛЕТ

Москва, 1966

2.

*по осени вода черна и знаешь сам  
кусты скамейки весь садовый хлам  
так сиротливы так заброшены судьбою  
что ангелы промокшие толпою  
летают между веток охраняя  
расплывчатый и влажный оттиск рая*

*и листья мокрые с трудом спешат вослед  
тебе и мне и кажется сто лет  
той крепко настоявшейся печали  
с которой мы когда-то начинали  
учиться жизни и учиться жить  
смеяться веселиться не тужить*

Москва 71

4.

*ветер гонит сухую пыль  
вдоль безликих белых домов  
за последним растет полынь  
подорожник чертополох*

*на веревках плещет белье  
в луже плавает детский мяч  
по скамейкам сидит жулье –  
карты плечи да спотыкач*

*с окружной кричит товарняк  
и идут облака стороной  
ни шлагбаумов ни гуляк –  
вяло виснет выцветший флаг  
баба дряхлой трясет головой*

Москва 69

3.

*но если смысл у слов в болтливый этот век?  
в натуге кесаря произнести заздравный тост  
или в чирикание сомлевшей потаскушки –  
разинутый от пяток до макушки  
о чем кричит с трибуны человек?*

*глухое сотрясение пространства  
узор из мелковышитых л ю б л ю  
и окаянство подзаборной речи –  
а вот еще раскрывши рот ловлю  
в цветах долин священные слова  
гремевших исстари псалмов царя Давида  
но муэдзин чей сладок вопль как халва  
весь сморщился до брызжущего крика  
и все покрылось ржой и все сожрала ржа*

...

*что мне тебе сказать в обманутое ухо  
ты не услышишь слов моих в упор  
созвучья реют плещут волны слуха  
но середину слов похитил ловкий вор  
а посему кричи не докричишься  
шепчи сухую залатав гортань:  
в словах парчовых нежная истлела ткань  
и набухает горькое молчанье  
и ты к нему со всеми вместе мчишься*

Москва 71.

5.

*променяй если сможешь на трубочку калейдоскопа  
на цветную игру непрозрачных осьмушек  
коммунальной берлоги аппендикс, подобье окопа  
ржавый свет коридорных опушек*

*ночь стоит за окном в старом черном пальто нарасташку  
снег течет ей на плечи на жалкую сонную грудь  
променяй же скорей на обман на пустяк на стекляшку  
законную тусклую и безнадежную муть*

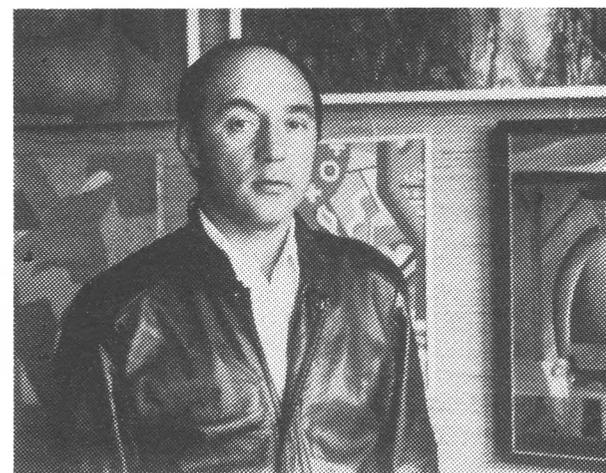
*неужели и вправду когда-то шарманка слонялась  
собирая по крохам совсем как старьевщик тоску  
нам досталась от прошлого самая малая малость  
да и то утекает сквозь пальцы подобно песку*

*если в лоб прочитать этот мир то и вправду свихнешься  
от бессонницы жаркою свечкой сгоришь  
променяй свою трезвость а по утрам – там разберешься  
на полночную качку кренящихся замертво крыши*

*пересмешник горбун на руках проходя по карнизу  
наконец-то ты понял что небо одето в асфальт  
льется ночь плещет сверху и сбоку и снизу  
и поет вдалеке как фонарик блуждающий альт*

Москва 70

**Вадим  
Нечаев**



6.  
в чет и нечет сыграем судьба в чет и нечет  
в темноте под деревьями пьяная девка хохочет  
вот такая Сивилла за медный пятак напророчит  
за двугривенный жарко и стыдно залечит

напророчит пустую квартиру и день безмятный  
оловянную тупость и облако в тихом окне  
напророчит словами текучими словно во сне  
полдень бледный и ветер обманный

что ж поди я и сам уж давно догадался  
что пора перепутать квартиру столицу и век  
что когда-нибудь скучный как смерть человек  
тихим голосом скажет чтоб я собирался

до зевоты знакомая новость. гадай не гадай  
все расписано в лицах. пророць не пророць

— не прибавишь

в чет и нечет лукавством ребячьим едва ли обманешь  
и как Осип едва ли прошепчешь: пусти и отдай  
Москва 70

7.

не мы подводим времени черту  
сама черта как уровень ненастья  
нас гонит прочь от набережных. счастье  
что сонный город жив с цветком во рту

бубни урок. переводи часы  
в столетье времени осталось на затяжку  
чем день длинней тем небо нараспашку  
простреленное пулею оси —

лень продолжать. затылок и плечо  
нагреты солнцем. черный рант ботинка  
от городского рыжего суглинка  
пожух. у баб там горячо

помилуй нас: растратить столько лет  
чтобы на выходе так честно растеряться?  
канал. колонны. сухонькая пьязца  
каракули о том что на обед

есть воля к жизни. воля к смерти есть  
открытие заслуживает порки  
два воробья вокруг размокшей корки  
вопят и ссорятся и как ни глянь но несть

зацепки глазу. словно все ползет  
от зыбкого промытого пейзажа  
до слова "я". такая вышла лажа  
почтарь плетется. шавка кость грызет

Венеция  
янв. 84

РОМАН

ДВОЙНОЙ ПОРТРЕТ

Часть вторая

Я родилась в еврейской семье.

Я долго не была личностью.

Когда на мой город упала первая бомба, мама схватила мешочек манки, кое-какие вещи, остальным руководила бабушка, еще помнившая ужас и бегство кишиневских погромов, и мы уехали.

Но это были не мои тревоги.

Я этого не помню. А помню только, что каждый год после войны мама в день гибели дедушки ставила тайком от всех в русской церкви свечку и плакала.

Потом мама перестала ставить свечку, и дедушку вспоминали, когда вторая моя бабушка — Васса Железнова, как я ее называю, отзывалась о нем каким-нибудь нехорошим словом, чтобы сделать маме больно. Васса правила всем домом жестко и нетерпимо, оттого мое детство было таким одиноким.

\*\*\*

В гости к Алексею затащила меня подруга.

— Право, не знаю, чем вас развлекать, — говорит Алексей, — хотите посмотреть мои фотографии?

Подруга моя глаз с него не сводит, а я отворачиваюсь. Когда я увидела его, я твердо решила: он будет мой, а сама делаю вид, что он нисколько меня не интересует, так же как и его родные, и ноты, и картины. Я чувствую себя не в форме, самолюбие мое напряжено.

— Я не люблю фотографию, — выпаливаю я.

— Почему же? — В его голосе слышится искреннее удивление.

— Я не оборачиваюсь на прошлое.

— А письма?

— Их после прочтения уничтожаю.

— Что же вы цените?

— Завтрашний день.

Он изучающе смотрит на меня, но я не смущаюсь. Мне скрывать нечего перед этим человеком. И не хочется, вот я вся перед тобой.

Приходит его приятель Павел Фешкин. Год назад я с подругой была в филармонии, и там мы с ним познакомились.

— Наконец-то наше свидание состоялось, — говорит он, обращаясь к ней и ко мне одновременно, и щурит глаза. — Я так мечтал об этом дне, но все было не вырваться. Я ведь пишу диссертацию.

— О чем же? — спрашивает Ольга.

— В двух словах трудно передать. В общем, об эстетическом воспитании человека будущего.

Алексей скучно посмотрел на него:

— Павел, разлей, пожалуйста, коньяк.

Фешкин поднял рюмку и вкрадчивым тоном предложил тост:

— За прекрасных дам...

— Эстетически воспитанных? — добавил Алексей.

Ольга рассмеялась:

— Злые языки страшнее пистолета.

— Поехали, — сказал Алексей и выпил залпом.

Алексей пригласил меня на танец. Какие у него блестящие глаза! Хочу коснуться его щеки.

★ ★ ★

Мы опять в этой комнате.

— Это так хорошо, что вы здесь. Меня пугает эта комната.

В юности я каждый вечер куда-нибудь сбегал от нее: она как будто населена кошмарами.

— Нет, мне нравится у вас.

— Раньше я был настолько общителен, что куда бы ни приходил, всюду слышал одну и ту же фразу: "Все о тебе вспоминали".

— Это же прекрасно. Обо мне, наверное, никто не вспоминает, если не считать родителей.

— Можно вечно ходить по одним и тем же кругам, так и не найдя пути к себе, — сказал он нечто туманное для меня.

За окном два тополя касались друг друга голыми ветками,

— и я помню, как загадала тогда: "это мы".

★ ★ ★

— Нет, я не останусь, — говорила я через неделю. — Ты будешь дурно обо мне думать. И общежитие скоро закроют.

— Ну и пусть закроют.

— Тебе легко говорить, ты ни от кого не зависишь.

— Мой дом — в любое время твой дом.

...Рано утром я уехала. Я не думала о том, какую утку я сочиню для своих соседок, а думала только о том, что мы увидимся снова завтра вечером.

★ ★ ★

Он провожал меня в общежитие, мы пропускали трамвай за трамваем, гуляли в парке у метро и все говорили. Он рассказывал мне о своей сюите. От гордости я задрала нос: со мной делится своими мыслями музыкант.

(Потом ты часто любил, чтобы я, когда ты работаешь, лежала на диване, занималась, читала.)

Для меня не было большего счастья, чем вот так смотреть, как ты работаешь, как морщишь лоб, как проигрываешь на рояле то, что сочинил.

С какой болью я вспоминаю сейчас время, когда я могла стать перед тобой на колени, когда шептала: "Хочешь, я буду твоей рабыней?" Но это были только слова, а ты захотел, чтобы я их исполнила.

★ ★ ★

На следующий вечер мы сидели в этом же парке. Мне грустно. Эти приступы хандры находят на меня с четырнадцати лет.

Он о чем-то задумался.

— Мне тяжело, Леша, — говорю я.

И вдруг он исчез... Он увидел девочку с большой и красивой овчаркой.

Я поняла, что часто буду вот так терять его.

Я должна была уйти, но я осталась.

★ ★ ★

В апреле я поняла, что беременна. Я знала, что он не хочет на мне жениться. Мы лежали рядом на диване, и я сказала: "Это наша последняя встреча. Мы должны расстаться". Он понял, что я подразумеваю все же брак.

— Видишь ли, — сказал он, — жениться я пока не могу... надо подумать... проверить себя.

Ух, как я вскипела.

И сцена как в кино. Полупустое кафе. Я со слезами в глазах. Ты куришь, выслушивая мои обвинения.

— У нас разный подход к совершившемуся. Я для тебя всего лишь короткий эпизод в жизни, а для меня решается судьба, — говорю я зло и категорично.

Я ухожу. Несколько дней валяюсь лицом к стене в общежитии. Он приезжает. Мы снова в кафе, каком-то грязном и пьяном, мне плохо от этих сосисок и шоколада, я бледная, растрепанная, некрасивая, беспомощная, но не хочу его помощи.

Все же он меня уговорил, и на следующий день я приехала, и он отвел меня к врачу... Дверь в отделение прямо с улицы. Мне должны сделать укол. Ни он, ни я не знаем, какой. От этого немного страшно. Я накрашена, и хорошо на этот раз выгляжу.

Но укол не помог. И тогда началось. Я была почти без памяти. Меня увезли на скорой помощи. Он навещал меня каждый день. После выхода из больницы я уехала на практику в Псков.

Какие это были чудесные дни, когда я приезжала к Алексею на дачу в Зеленогорск. Несмотря на то, что однажды я застала там высокую и кареглазую его подругу Нину и несмотря на то, что он там много работал, а я нередко оставалась одна. Мы гуляли вечером у залива, кормили чаек булкой и очень поздно засыпали. Мне было наплевать на все на свете, кроме его глаз, его рук, кроме наших ночей.

Во второй мой приезд мы очень поссорились. Я получила тройку на экзамене и сказала, что останусь без стипендии. Когда я ответила, что не стану добиваться, не умею, неудобно и прочее, он рассердился. Он даже предложил мне взять академический отпуск и пойти работать. Я закричала, что скорее брошу его, чем институт, потому что диплом означает для меня независимость, которую я ценю превыше всего.

Следующая наша ссора произошла уже на Рижском взморье, где после практики я жила у родителей. Я бомбардировала его письмами, но он почему-то медлил с приездом. Наконец, явился в каком-то замасленном свитере, стоптанных туфлях. Родители явно не одобрили мой выбор.

В первый же вечер он ухитрился заспорить с отцом, прочел нотацию бабке, когда та назвала Иисуса Христа обманщиком, и завершил картину вечера тем, что допил в одиночку весь коньяк. Меня обидело, что он так высокомерно обошелся с моей семьей. И хотя вся неделя пролетела в сплошной нашей любви, когда он уезжал, я сказала ему, что все кончено.

После его отъезда наступила какая-то пустота, мои знакомые развлекали меня, но освободиться от него я не могла. Он меня "отравил". Рядом с ним другие мои поклонники казались мне плоскими.

★ ★ ★

Перед возвращением в Ленинград неожиданно для самой себя я послала телеграмму. Прямо с вокзала он отвез меня к себе домой. Я не слишком решительно протестовала. Мы договорились, что я поживу у него неделю, а затем перееду в общежитие.

Жили мы плохо, я устраивала сцены. Он отказывался на мне жениться и расстаться не хотел — все это страшно задевало мое самолюбие. Наконец, я нашла в себе силы и переехала в общежитие.

А теперь я вспоминаю, что у нас почти каждый вечер происходили интересные знакомства и встречи: художники, меценаты

ты, молодые прозаики, споры и музыка, стихи, домашние концерты в два часа ночи...

Эти вечера были для меня как прекрасные спектакли, и хоть я страдала от того, что никак не могу чувствовать себя с ним равной, — это меня и унижало и восхищало одновременно, и я бегала в Эрмитаж, читала до одури, жадно вслушивалась в споры, и каждое незнакомое слово было для меня истиной, — но больше всего я хотела... выйти замуж (еще одно противоречие моей жизни или моей натуры).

★ ★ ★

Ровно год назад, в пятницу, мы поженились.

Собственно, мужем и женой мы стали раньше, когда я поселилась у Алексея, но это было зыбкое и непрочное состояние. Ему не хотелось ни жены, ни свадьбы, — и все-таки мы отравились в ЗАГС... Я из упрямства, он из сострадания ко мне. Мне было не по себе. Я, кажется, мало сознавала, что совершаю в жизни, и совсем по-детски оттягивала эту минуту. Утром я пошла в парикмахерскую, зашла в магазин купить подарок: мне духи, а ему кошелек на богатое будущее, но забыла положить туда по обычаю деньги; потом в кафе выпила рюмочку коньяку. Когда я подошла к остановке метро, Алексей стоял без цветов, чужой и взъерошенный, его тетя, крепко сжимая букет, с волнением оглядывалась по сторонам. Увидев меня, она изобразила на лице восторженную улыбку, а жених мой даже не пошевелился. И все же я старалась держаться, хотя было что-то нереальное: и снег, который неожиданно стал падать, и я с непокрытой головой, и молчаливый Алексей, и то, что мои родители об этом ничего не знали, а его отец накануне не дал согласия на брак.

Первый раз в этот день я заплакала в ЗАГСе, когда спросили, буду ли я менять фамилию. Я с готовностью сказала "да", обрадовавшись, — что я — такая властная и самолюбивая — попаду под чье-то влияние. Но Алексей отказался. Если бы не его тетя, я бы убежала.

Свадьба вышла экспромтом, подарков не было, взволнованно-счастливых лиц — тоже, и "горько" крикнули один раз, но Алексей отказался поцеловаться.

Я не грущу о несоблюденных традициях, и в конце концов это ерунда... по сравнению с китайской революцией...

Алексей рано напился, и его уложили спать, родственники ушли, отец тоже исчез, гости перепились, и всем было на меня совершенно наплевать. Мои подруги чувствовали себя неловко среди богемных друзей моего жениха и, не скрывая, меня жалели.

★ ★ ★

Когда мы поженились и я окончательно переехала к нему, меня поразило полное отсутствие уклада в его жизни. Его дом был открыт для каждого, он всех принимал, выслушивал, давал приют и делил свой жалкий ужин.

Приезжали из Москвы художники и поэты, останавливались у нас, и каждый вечер были гости и споры.

Говорят, тогда он был святым. Ко всем относился, словно к детям. Широта его притягивала была для меня непостижима.

Когда он рассказывал о своей фреске и своей Клеопатре, он еще не знал, что я-то и есть Клеопатра. В детстве я хотела стать актрисой и воображала себя в роли королев. Должно быть, вы сами заметили, что актер сидит почти в каждом, и когда подвергается увлекательная роль, то бывает трудно от нее отказаться.

Я не была настолько глупой, чтобы показать, что ревную Алексея ко всем: к отцу, к друзьям, к его прошлому. Я честолюбива на его счет: я готова всем пожертвовать ради его успеха.

Я твердо решила перестроить наш быт. Отпетые ребята, или, как называли в нашем кругу, последние гусары, втягивали Алексея в свои затеи и нелепые развлечения — они попросту прожигали жизнь. Его работа только страдала от их визитов.

Затем наступила очередь "больных". Это были талантливые неудачники, проигравшие борьбу с жизнью. Они строили фан-

тастические проекты, мечтали о создании нового театра, которому Алексей будет писать музыку, но все это были слова, слова, слова... Эти постепенно перестали ходить сами.

Труднее было отвадить музыкантов. Их встречи пронизывала любовь-вражда. Каждый из них ревниво следил за успехом другого, и недаром один наш друг назвал их сворой одичавших собак. Впрочем, Алексей настолько был лишен честолюбия, что не представлял для них опасности.

Когда из всего скопища гостей осталось лишь двое, я ощутила, что — вот-вот добьюсь победы. На пути к ней стоял музыкант и философ Сергей Извольский, всегда непричесанный, в мятой ситцевой рубашке, он имел обыкновение являться в дом к полуночи, и нередко они с Алексеем засиживались за чаем до утра.

В конце концов я не выдержала, вышла к ним ночью на кухню и очень вежливо сказала философу Извольскому, что в нашем доме прием гостей заканчивается в двенадцать часов. Он почему-то обиделся, снял с вешалки пальто и тотчас ушел. Он не появился ни на следующий день, ни на третий. Минила неделя, и за ужином Алексей нарочито громко говорит в сторону: "Совсем неинтересно стало жить". "Искусство требует жертв", — хотела я ответить, но предпочла смолчать.

## Год второй

Праздники оставили смутный и тяжелый осадок. Мы очень ссорились — пожалуй, таких ссор еще никогда не было. У меня все чаще мелькает: "Это ужасно... Зачем... Придется расстаться".

Как он измучил меня 6-го ноября. Мы поздно возвращались от наших приятелей. Идти нужно было далеко, я к чему-то придралась, вспылела, и он снова сказал то обидное, хулиганское слово, из-за которого у нас однажды был скандал. Я заявила, что не пойду домой. Я еще не придумала, куда мне деться, но возвращаться домой я отказалась. Это был их дом — его и отца. Он тащил меня, отпуская, когда попадались редкие прохожие.

Я остановилась у телефонной будки. Вдали показалась машина, и я подумала: надо умереть. Я ждала, когда она приблизится. Машина подъезжала, там сидела парочка и целовалась — я заметила все — я сделала медленный шаг, ноги стали ватными, в голове зашумело... Машина проехала. И хоть я ждала следующей машины, я понимала, что не сделаю этого. Я была недостаточно пьяна.

Завтра на судебной медицине мне придется вскрывать труп человека, умершего скропостижной или насильственной смертью. По-настоящему начинаешь понимать и бояться смерти в морге, когда видишь покойника, такого отчужденного на цинковом столике, и родственников его, которые еще толком не осознают, что произошло.

Я до сих пор не могу представить, что дедушки нет в живых. Он заболел зимой, какая-то тоска съела его, и он все меня ждал — я была его любимницей, — что я приеду на каникулы. В квартире шел ремонт, дедушка лежал в крайней комнате, среди тюков и чемоданов. Пора было возвращаться, но дедушка упросил меня задержаться. В воскресенье я уехала кататься на лыжах, а когда вернулась, дедушка был мертв. Дом заполнили родственники, они были напиханы всюду, а я сидела возле дедушки. Его хоронили на третий день, я два дня не плакала и ни с кем не говорила, только пила валерьянку в кухне, чтобы никто не видел.

Когда я была совсем крохой, дедушка единственный меня баловал. Когда я выросла и мне стало невыносимо, дедушка точно догадался об этом и отдал свою жизнь вместо меня, потому что после похорон я не могла думать о смерти.

★ ★ ★

Я вернулась в Ленинград. И все образовалось, и все забылось. Только дедушка часто снился мне живой. И если бы не Алексей, я бы оказалась в совершенной пустоте.

Вероятно, поэтому я физически не могу переносить, когда

он надолго уходит из дома. Я просто заболеваю. Я уверена, что он не встречается с женщинами, нет у него свиданий. Он бродит где-то по улицам, забывая о времени. А я волнуясь, жду, все валится из рук.

Я уже привыкла и поняла, что Алексей и быт — несовместимы. И все же, если он любит меня, он должен кое-что преодолеть в себе. Он добрый, благородный, но... Он говорит: "Любовь одна — к женщине, соловью, травинке!" Он любит весь мир, в целом, не выделяя меня из него.

Я хочу любви безмерной. Потому что он заслонил собой все остальное, что есть в жизни.

У нас все не так. И дело не в том, что я скандалю, а у Алексея нет постоянного заработка.

Я хочу жить бедно, но гордо, — а тебя это не волнует. Ты способен ходить в рваных туфлях, сидеть в долгах, но выпросить у отца деньги на юг.

Или, — ты не разрешаешь, чтобы я при тебе раздевалась, и раздражаешься, если я вовремя не причесала волосы...

★ ★ ★

Вчера уехал в командировку свекор. Алексей вызывает такую волну любви... можно подумать, что какая-то связь с отъездом отца. Видимой — никакой. Мы с ним не ссоримся, но не любим друг друга.

Он меня не любит потому, что ревнует Алексея. И как женщина я Н.Н. не нравлюсь, а это имеет значение, потому что ему ой как нравятся молодые женщины... Он умный и интересный рассказчик и тяжелый человек.

Помню, как я переживала, когда услышала, что его любовница побежала в ванную ночью. Я думала, что она ушла. Я не смогла сдержаться, начала высказывать какие-то обиды, мелочи и, наконец: "Алеша, мне как-то неприятно, когда у отца женщина. Все-таки он мог бы со мной считаться..." Алексей страшно удивился: "Он считался с тобой и тогда, когда у тебя не было штампа в паспорте".

Они не могут понять, что теперь у них не холостяцкая квартира, а семья. Они, мужчины, всегда жили вдвоем и завели нравы "своих парней". Такие суровые ковбои. А меня иногда раздражает их скрытная и сентиментальная любовь друг к другу.

★ ★ ★

Прошло много дней. Он внезапно уехал в Прибалтику, потому что ему не работалось, потому что он устал, — и оставил меня одну.

И вот я каждый вечер наряжаюсь, навожу косметику и гордая отправляюсь в театр. Да, каждый вечер. Алексей уехал на море, а я возвращаюсь из театра, сажусь у зеркала и разглядываю себя, — красивое зрелище, правда. Когда становится уж вовсе невыносимо, я снимаю все и валюсь на диван.

Как он испортил мне все лето. Играл целыми днями в карты, исчезал по вечерам с местными "поэтами". А я злилась, и он даже не видел, что за мной ухаживают, да и я увлекаюсь другим.

Я укладываюсь спать, как слышу вдруг скрип ключа. Я так и замерла, и глаза, конечно, на мокром месте. Выглянула за дверь. Он элегантный, веселый, с дорожной сумкой в руке, в другой держит бутылку таллинского ликера и шоколад.

Я приготовила ему яичницу.

— Это твой подарок из Прибалтики? — показала глазами на бутылку ликера.

— Сувениры в России исчезли.

— А янтарь?

— На него уже не хватило денег.

— Ты совсем обо мне не думаешь.

— Чересчур много думаю.

Так мы и не поцеловались.

★ ★ ★

Мне 24 года. Я получила в подарок два чудных мадорских сосуда. Где он их достал? Порой он мне кажется рассеянным,

безучастным. И вдруг какой-нибудь неожиданный поступок — вроде этого подарка.

А они даже не вспомнили. Тщетно я жду звонка уже два дня.

Гостей мы не звали, и меня никто не поздравил, кроме любовницы Н.Н. Мы с ней неожиданно разговорились. У нее муж был писатель, погиб в 47 году. Она говорит: "Ну зачем вам ссориться. Вы же понимаете, какие колебания были у Алексея, чтобы жениться и брать на себя ответственность за вас, когда у него такая трудная судьба и неизвестно, что впереди..." Все стало на свои места, с души свалилась тяжесть сомнений, что он не любит меня.

★ ★ ★

Алексее понравилась история про И.П.Павлова. Когда он, умирая, уже терял зрение, он воскликнул: "Кора! Я же говорил, что кора участвует". К нему подошел его любимый ученик и спросил: "Вы узнаете меня?" "Незамедлительно", — ответил И.П. Павлов на языке своей теории. "Вот таким должен быть художник", — сказал Алексей.

С утра он уезжает на велосипеде за город или на залив, днем читает, играет на рояле, а ночью сидит на кухне и пишет.

Извольский говорил, что многим из них мешает стать настоящими художниками то, что они не сумели подняться выше времени — их вещи не могут стать безвременными.

Нет, ты поднялся. У тебя душа для твоей музыки. А на окружающих, — на меня — ее не хватает. Я знаю, что до меня тебя любили многие. Я помню свое потрясение, когда нашла на антресолях пачку писем, адресованных тебе. Я не сказала тебе об этом, но с того дня меня не отпускает ревность и страх, что кто-то отнимет тебя, украдет, уведет.

★ ★ ★

Пролетело еще лето, — оно было таким долгим, — и я уже не студентка, а участковый врач. С вечера я собрала в сумку все необходимое: стетоскоп, халат, выписала на листочек рецепты.

Алексей прочел мне лекцию, как я должна держаться с сотрудниками, с начальством и как с больными.

— С сотрудниками, — внушал он мне, — ты должна быть на равной ноге, внимательна и любезна, но никакой фамильярности или амикошонства. С начальством сдержанна, достаточно независима, ни почтительности, ни дерзости. С больными — ты Дева Мария, — а ведь он никогда не был чиновником или, как говорят теперь, служащим.

На первом же вызове я порядком растерялась. Прихожу к больной, лежит старуха в старинном потертом чепчике. Хроник, асцит, сердечная недостаточность. Старуха смотрит на меня недоверчиво: какой по счету врач, а улучшений нет. Я помочь на месте, тут же, ничем не могу, необходимо длительно лечить, пробовать какие-то средства, индивидуально подбирать дозы и смотреть в будущее. Я не знаю, с чего начать.

Представляю на своем месте Алексея, представляю, что бы он мог посоветовать в этом случае. Если невозможно что-то кардинально переменить, говорю я его словами, надо найти новую точку зрения. Не следует считать себя безнадежно больной. Испробуйте другие лекарства, разберитесь в своем душевном состоянии. Не правда ли, вы много перенесли в жизни? Старуха утвердительно кивает головой: да, да, откуда вы, такая молоденькая, это знаете? Я продолжаю, что это с ней не вдруг и не случайно, а последствия войны и блокады, и потери мужа (по обстановке вижу, что живет одна), но отчаиваться не надо. Для меня самое важное — завоевать ее доверие. Точнее, не завоевать, а притянуть, вызвать ее откровенность. Моя пациентка улыбается стальными зубами, провожает меня до дверей и на прощанье несколько раз повторяет, что ждет меня с нетерпением.

★ ★ ★

Больные неслись на меня как обвал. Я не успеваю взглянуть в лицо каждого. Замечаю недоверчивые улыбки: важно

решать моментально, а для этого нужна практика.

На днях прихожу к больной. Она стонет, боль в ногах, не может повернуться. Я поставила диагноз: межреберная невралгия, а оказалось воспаление легких — хрипов я не услышала.

Где-то подсознательно живет страх перед этой работой, и каждое утро я уговариваю себя, что ничего страшного нет и в поликлинике никакие неприятности меня не ждут.

Прихожу на прием, регистраторша сообщает: "Звонил ваш больной Машков, вы обещали к нему прийти, он вас ждал, а вас все нет", — с такой ехидной улыбкой. Я растерялась, лихорадочно вспоминаю, кто такой Машков. Оказывается, он сам все перепутал. Даже главврач сегодня меня встретил и говорит: "Что-то вы у нас похудели и побледнели". — Я отвечаю: "Больные мои мне снятся". Она успокаивает: "Ну что вы, не волнуйтесь. Все будет хорошо, вы такие толковые записи делаете".

На Алексея почти нет времени, он опять ушел в себя. Ему звонила женщина. Он очень мило с ней беседовал при мне. Самое печальное, что я осталась равнодушной.

★ ★ ★

Я хочу понять, что такое гордость (а я считала себя гордой). Когда мне многие рассказывали о своих мужьях, сколько им пришлось прощать, то самым большим признанием, возможно, было то, что я узнала от своей подруги: ее муж, заразившись от какой-то девки, заразил ее, и они вместе лечились и живут до сих пор, как будто ничего не произошло. Я не возмущалась, когда слушала. Я старалась понять, почему? И как я поступила бы на их месте.

31 декабря я довела пьяного Алексея, потребовав у него расписку о разводе... У тети я опьянела, Алексей все рвался к приятелю, нашел все же такси, и мы, разъяренные, пьяные приехали домой. Только ненависть могла, наверное, толкнуть нас к той страсти, какую мы испытали.

А потом он уехал к приятелю. Я уснула. Через несколько часов я увидела, что лежу на кровати, почти одетая, пальто рядом — он так и не пришел проведать меня. Я решила отправиться туда. В первую минуту Алексей, увидев меня, испугался, но все было мирно и хорошо. Скоро мы ушли.

И только сегодня я сказала ему: "Мне очень неприятно, что ты со мной так поступил, я все знаю, мне твой приятель сказал". Он ответил: "Зачем ты меня покупаешь? Он ничего не мог тебе сказать. Он не сплетник".

Сплетник?! Меня это слово насторожило. И клянусь тебе, дорогой, совершенно бессознательно я открыла шкаф. Я даже не знаю, зачем я это сделала. Пиджак твой упал, я повесила его и нащупала в кармане бумажки. Лицо мое вспыхнуло, я достала одну из них — фантик от конфеты — с облегчением, другие я не взяла. А на фантике номер телефона одной из девочек.

Ты скажешь, что это некрасиво и подло рыться в карманах, и уж по крайней мере не гордо. Допустим. Что же мне делать? — вот теперь! Когда этот телефон спрятан у меня в лифчике? Положить на место и делать вид, что я ничего не знаю? Простить? Или все пустить, как идет? А как должно идти? И где гордость? Где она кончается у замужней женщины?

★ ★ ★

Вчера дежурила в поликлинике. На работу уже ехала в азарте — все идут гулять, в кино, в магазин, а я — дежурить на "Скорую". Это гораздо интереснее — оказывать моментальную помощь, давать назначения и вызывать участкового, а не самой бегать по вызовам.

Я теперь легче переносу стычки с Алексеем. Прежде я запыривалась в ванной или часами валялась на диване лицом к стенке, не в силах встать. Моя энергия большей частью расходуется на больных, и ко мне на прием ежедневно выстраивается длинная очередь. Домой я не тороплюсь, и на каждого у меня хватает времени.

★ ★ ★

Я совершенно измотана в эти дни и работой и неприятностями. Безумно скучаю без Алексея и злюсь, что он не пишет. Недавно вспоминала с благодарностью, в каком тяжелом состоянии я пришла к Алексею и как он лечил меня. А наш брак оказался мукой, едва выносимой для обоих. Зачем мы это сделали?

Возвращаясь в трамвае, усталая и голодная после девятичасового рабочего дня и беготни по этажам, я думала о себе. Почему меня считали умной и способной, а я ничего не сделала? Что мне нужно? Чего я жду? Кого?

Алексей уехал в Москву на конкурс и пропал, как будто его и не было вовсе. А я совершенно случайно встретила своего летнего поклонника. Мы собирались вечером в кафе или на пляже, пили вино, мой поклонник играл на гитаре. Было чудесно. Алексея моя компания не заинтересовала. Он с нами скучал и под любым предлогом куда-нибудь удирал. Рижские художники пригласили его на свою выставку, и он пропал у них несколько суток. Или он мне бесконечно верит или совершенно лишен ревности.

Мой поклонник меня разочаровал: вместе с летним солнцем он потерял и свое немного циничное обаяние супермена. Я решительно отказалась с ним встречаться. Он упрекает меня за рассудочность. Да, я понимаю, что не могу нравиться мужчинам, поскольку требую от них максимализма в отношениях...

Получила от Алексея телеграмму с просьбой выслать денег на дорогу, а самого все нет и нет. Вчера еще один мужчина хотел стать моим любовником. Это зашел на огонек Лешин приятель Парафинов. — Не понимаю, что меня удерживает.

★ ★ ★

Он приехал в субботу. Я извелась ожиданием. Тем не менее приготовилась. Накрыла столик. Поставила вино, фрукты, шоколад. Надела черное вязаное платье. Накрасилась. Слышу, открывается дверь. Он вбегает: "Здравствуй, детка!" В глаза не смотрит. "Ну, как ты жила без меня?" — "Хорошо". Он отвернулся и даже прощения не попросил, что оставил меня на 8 марта одну. А я с трудом сдерживалась, чтобы не потрогать его стриженный затылок, его лицо, тонкие руки.

Мы молча выпили. Конечно, я опьянела и вышла из-под контроля рассудка. Я целовала его, шептала о своей любви. Он сказал: "Какая у меня красивая жена. Никогда еще не знал такой нежной женщины". На другой день мы пошли в Европейскую гостиницу на "Крышу". Танцевали. От моих признаний у него на глазах выступили слезы.

★ ★ ★

Сегодня мыли поликлинику. Смешно и грустно: врачи моют стены и полы. Пока мы убирали, длинный хвост очереди вытянулся по всей лестнице перед закрытой дверью.

Дома почти ничего не делаю или делаю, когда заблагодарасудится. Отец приобщается к домашнему хозяйству. Алексею же все равно — хозяйничаю я или нет. Он замкнут в себе.

Никогда не говорит со мной о творчестве, о своих мыслях.

Порой он кажется мне черствым, порой — возвышенным, и ни разу обыкновенным.

★ ★ ★

Была по вызову у переводчика С. Ему тридцать лет, слегка отекает лицо, наверное, пьет. Жалуется на боль в сердце. При прослушивании глухие шумы. Общепринятые средства ему не помогают. Очевидный невроз.

Он живет в старинном двухэтажном особняке. Из окна видна Нева и пустынный желтый пляж ЦПКЮ.

— Прекрасный вид, — сказала я, — вам повезло.

— Он наводит на меня тоску.

— Рассказывайте, — потребовала я. — Что с вами случилось?

С. слегка покраснел. Банальная история, по его словам.

Год назад он развелся. Процесс был затяжной и мучительный. Его жена полюбила друга. Как-то они ужинали втроем. Друг обратился к С.: "Я хочу сделать ей предложение". С. ответил, что она сама должна решить это. Жена его заплакала, и тогда С. сказал, что он согласен.

Я слушала его и смотрела в окно, на скользящие по Неве яхты.

— Помогите мне, доктор, — и на мой вопросительный взгляд добавил, — побудьте здесь немного.

Я села на стул рядом с его кроватью. Он спросил меня о моем муже. Я привыкла к таким вопросам, и стоило мне заговорить о нем с кем-нибудь из посторонних, как Алексей необыкновенно вырастал в моих глазах. Он замечательный человек, говорила я, он все равно что святой, но мне с ним так тяжело. Переводчику, заметно было, я еще больше понравилась.

Я продлила С. бюллетень и через день вновь его навестила. Оказалось, что он высокий, черноволосый, стройный. На столе — цветы и шампанское.

- У вас есть еще вызовы сегодня?
- Нет, — сказала я, улыбнувшись, — вы последний.
- Если бы вы знали, как я ждал вас.

Он был бы счастлив видеть меня хоть изредка, потому что я возвращаю ему бодрость и веру в себя.

Я не спрашивала мысленно Алексея, дурно ли я поступаю. Я считала, что на все имею право, тем более, что он сам вернул себе свободу.

★ ★ ★

Была у гинеколога. Что-то обнаружили — нужно уточнить происхождение, неопределенно заметила врач. Я по-обыкательски подумала: злокачественная — и не расстроилась. Я бы знала, что отпущено несколько лет жизни, я умру молодой и красивой, нужной, в любви. Исчезла бы озабоченность, скованность, какие-то нелепые бытовые планы... Я не могу жить беспорядочно, вывозить Алексея из каких-то домов, где он играет на рояле и его окружают неизвестные мне почитатели и женщины, и, когда он меня видит, он церемонно и подчеркнуто-вежливо представляет меня своим знакомым и уговаривает меня немного посидеть, ну самую малость, ну, всего полчаса, а утром, невыспавшаяся, я бегу на работу, в то время как он спит безмятежным сном. Я ужасно злюсь, когда он не работает, потому что не могу решить, настоящее ли это у него призвание. А вдруг он ищяк? И я требую от него большой работы, пусть и бедность тогда.

Я страдаю от своего почти немецкого стремления к порядку. А так был бы — самый беспорядочный и драгоценный и уверенный образ жизни. И я бы не лечилась, ощущая вкус каждой минуты, каждого своего движения.

★ ★ ★

Я уже не пытаюсь решить про себя: любит он меня или больше ненавидит. Мы прожили тихий месяц, когда меня выписали из больницы. Я так и не успела испытать муки родов: внематочная беременность, вынужденная операция... Правда, Алексей относился ко мне идеально, и я, несмотря на болезнь, опять расцвела.

★ ★ ★

Меня отправляют в южный санаторий. Перед отъездом мы ужасно ссорились. Он обвинил меня в измене с переводчиком С. Я с ним действительно встречалась и была в ресторане, кто-то из общих знакомых нас там видел. Я не отрицала своих свиданий, ну и что ж, разве каждый из нас не обладает личной свободой. Я не думала, что Алексей из-за этого будет в таком горе. Он угрожал мне разводом, если я не признаюсь. А если б я призналась, ему было бы легче? Или я должна была признаться, что С. был гораздо учтивее и нежнее ко мне, чем мой муж? Я ни в чем не призналась, и мы расстались, не помирившись.

С побережья я отправила ему десять писем, звала его, и

ни на одно он не ответил. Зато С. написал мне, что он болен мною и явится по первому моему сигналу.

Как я ждала Алексея, я вся извелась ожиданием, я не знала, что предположить. Я думала, что он в больнице, пока не получила его загадочную телеграмму: "Будь счастлива".

### Часть третья

Я должна решиться! должна? — тысячу раз повторяла я про себя.

Читаю "Анну Каренину" — нет, не уйти из жизни.

Меня останавливают не мысли о родителях, которые не переживут, — вдруг стало ясно, что они все переживут. Я только не понимала, как мне дальше жить без Алексея? Самое удивительное, что это физическое горе пришло спустя много недель после того, как я услышала: "Со мной случилась беда — я полюбила другую, хочу просить о разводе и не разлюбил тебя..."

"Я согласна", — почти одновременно с ним сказала я. Я давно все надумала; как придет срок, когда он найдет другую, и я на все соглашусь. А после мы встретимся, и он поймет, что всегда любил меня... Эту историю воображала не раз, обдумала все детали, а про себя: спокойна, горда — все, что утратила за последнее время. И такой уверенной в себе вернулась с юга. И мы разыграли социальную пьесу: муж влюбился в юную девушку, честный человек, он признается во всем жене, оба мучаются — любовь, оказывается, не прошла.

Но что значили все слова, все неурядицы, когда любовь бросила нас в объятия и ничто на свете больше не существовало!

Я прибираю его стол и повторяю себе: я должна решить, должна! Он бывает нежен, и тогда я еще отчетливее понимаю — все кончено.

Раньше меня бесила мысль, что он обо мне не пожалеет, теперь мне это безразлично. Меня буквально преследует идея: "Надо развестись", — на каждом шагу, что бы я ни делала: варю ли обед или сижу с ним в кино.

Пока он любил Надю, он продолжал любить меня. Но он разочаровался в ней, и разочарование ударило рикошетом по мне. Вероятно, ему с ней было бы легче, чем со мной. Она красивая женщина с веселым характером и ничего от него не требовала. Как бы он ни увлеклся процессом жизни, выше жизни он ставил свою работу, и оттого я выиграла это изнурительное состояние. Она любила его, а я прежде всего его музыку.

Но как только он порвал с ней, он охладил и ко мне. Он совершенно все забыл: мою жертвенность и гордость. Он не доверяет мне теперь, хотя я проверенный в беде и слабости его друг.

Наступила зима, и он уехал в Зеленогорск. И вот после этих мучительных месяцев я застаю у него Надю. Правда, она явилась туда без приглашения и не одна, а с приятелем. Надя, признаться, в этот вечер был хороша. Когда я открыла дверь, он побледнел.

— Уходите! — сказала я ей.

Она посмотрела на меня медленно так и улыбулась:

— Давно мы не виделись, у вас весь загар прошел.

— Уходите, — повторила я, чувствуя, что готова ударить ее.

В ней сконцентрировалось все то зло, что разъединило меня с Алексеем.

— Я, конечно, уйду, — сказала она, — но зачем вы так? Может быть, я приехала проститься с ним.

— Имею право!

— И у меня на него тоже право есть!

Она ушла, а я не могу забыть ее лица, с медленным скользящим взглядом, его и ее лица вместе. Что бы он ни сказал, сделал, подумал, я вижу рядом с ним ее, ее, а не себя.

★ ★ ★

Чтобы проверить его, я сказала, что задержусь с работы. Он догадался, куда я пойду, и не остановил меня. А по дороге к метро я встретила Надю. Я давно ждала этого совпадения, даже специально ходила по ее улице. Я уже не ревную его к ней, только

боль от его измены, измены публичной, на людях, торчит во мне, словно осколок.

Я не очень взволновалась. Для меня это явилось лишним подтверждением, что так надо — в суд, что я не должна прощать того, что случилось. Необузданное стремление обогнать ее проснулось во мне, чтоб и она меня видела. Она шла, глядя прямо перед собой. На ней было длинное сиреневое пальто с воротником из рыжей лисы. Я ускорила шаг, поравнялась с ней и будто случайно заглянула ей в лицо. Она твердо встретила мой взгляд. В ее глазах я не прочла ни удивления, ни насмешки. В них было столько укоризны и страдания, что я первая отвернулась.

★ ★ ★

Я думала, что с годами мало изменюсь. Передо мной лежат две фотографии. Я сопоставляю их. Какие разные лица. На первой — детскость, воодушевление, вера, на второй — взрослая женщина. Я боюсь этой фотографии, боюсь самой себя.

Я знаю, что Алексей не встречается с Надей. Это говорит моя интуиция, а она меня никогда не обманывала, — когда ты задерживался, я всегда знала, где ты: по делу, с приятелем или у нее. Я звонила ей каждый день. Я знала заранее, подойдет ли она к телефону и своим тягучим "филфаковским" голосом скажет: "Алло, перезвоните, вас не слышно", или ее не окажется дома. Ты обычно слонялся из угла в угол, курил, пялился в телевизор, и я могла бы успокоиться, но продолжала ей звонить.

★ ★ ★

Мы долго спали после бессонной ночи в гостях. Мне снился огромный кристальный водоем, я не видела ни конца, ни края, и только большие мертвые рыбы двигались в нем, повторяя течение воды, и потому казалось, будто они живые. И среди них черные коты, тоже мертвые, но как живые. Я смутно разглядела, что в этом мертвом царстве плыву то вверх, то вниз. Где я все-таки осталась, на дне или выплыла?

★ ★ ★

Перед Новым годом он спросил меня:

- Какой ты хочешь подарок?
- Чтоб ты дал слово, что никогда с ней не увидишься.
- Сколько в тебе жестокости и нетерпимости!
- Она разбила мне жизнь!
- Зачем в других искать причину своих несчастий — она в нас самих.

Ему я прощаю все! Я готова простить еще больше, только бы вернулась его любовь. Жизнь для меня, как тот водоем во сне, и я не выплыву одна. Он это видит и молчаливо терпит.

Удивительные перепады в наших отношениях. Мы ненавидим друг друга до жестокости и подлости, допуская в каждом все, что угодно. И внезапно — затишье, нежность, словно не было стыдных слов и поступков.

★ ★ ★

Вчера у Никольского собора мы ловили такси. Наконец, остановили, но ее перехватил тип в дубленке.

- В Купчино, и побыстрее. Я поэт.
- После смерти Анны Андреевны поэтов в России не осталось, — ответил шофер и укатил.

Я зааплодировала, Алексей хмыкнул недовольно.

Я помню Никольский собор зимой, огромную толпу перед ним, похороны Анны Андреевны Ахматовой. Здесь собралась вся интеллигенция Петербурга. Рыжеголовый поэт, любимый ученик Ахматовой, нес ее гроб. В освещении тонких церковных свечей меня поразила легендарная красота Ахматовой. Говорят, в нее влюблялись до самой ее смерти.

- Я рассказала Алексею, как ее отпевали. Он скривился:
- Старуха не вынесла груза поздней славы.
- Тебя ничто не трогает, кроме твоих опусов. Даже смерть.

— Деточка, ты не поймешь. Я полгода носил траур по Кеннеди, с которым не был знаком. Это для вас — Анна Андреевна — повод к умным разговорам, персонаж из неизданной хрестоматии. Для моего поколения Ахматова — это факт из биографии.

...Мы шли домой пешком, молча. Я замерзла, жалела себя и завидовала Ахматовой: ее красоте, ее славе, даже ее смерти.

Меня мучит бесплодность моих дней. Кому я нужна, кроме своих пациентов?

★ ★ ★

Сегодня он намеревался подавать на развод. Пожалуй, каждый из нас рад был бы, если бы этот развод совершился как-то сам собой, без нашего участия. Когда он или я собираемся идти в суд, тотчас наступает мир и покой.

Отчего же мы боимся? Я — от того, что он заполнил всю мою жизнь, пока в нее так стремительно не вторглась Она. Он — от того, что привык ко мне, пусть даже я и обманула его некоторые ожидания. Если б я вернулась назад, в мрамор, в покорность, молчание, все бы образовалось и мы невозмутимо прожили бы много лет.

★ ★ ★

Подавать заявление на развод так же буднично и безрадостно, как и на бракосочетание — те же нелепые и беспомощные мысли: "Что я делаю, ведь это навсегда".

В очереди к судье много женщин разного возраста и всего один мужчина. Вероятно, я пойму, что происходит, через несколько месяцев — то же самое было и с замужеством.

День моей свадьбы не запомнился мне торжественным, и развод не будет драмой.

Судья толково нам разъяснила, что если нет детей и не состоится тяжбы об имуществе, заявление надо подавать в ЗАГС. И вот спустя три года я в этой же комнате и снова чуть не заплакала, все совершилось так просто и по-канцелярски.

Ведь я знаю, что хотела бы только на время, не представляю его без меня, вернее, представляю до слез и реву. Господи, хоть бы заснуть и проснуться одной. Уж лучше бы он пропал без вести.

#### Часть четвертая

Минула неделя как мы подали на развод. О нем не упоминалось в разговорах, и мы старательно обходили его стороной даже в мыслях, которые легко читаются друг у друга, когда долго живешь вместе.

Странно, но меня устраивало это полуразводное положение: я был как бы с Ириной и без нее, как бы связан и в то же время свободен, ей же оно было поперек горла.

Глухая ее тревога нарастала с каждым днем, но я этого словно бы не замечал.

В тот день я ушел на репетицию с оркестром. Вернулся домой поздним вечером. Всюду в квартире виднелись следы поспешного отъезда, бегства, раззора. Она даже оставила свои медицинские книги и лекционные тетрадки. На кровати записка: "Нет больше сил терпеть эту двусмыслицу, унижение, видеть, как ты ждешь назначенного дня развода, скрывать свою любовь".

Год назад мне казалось, что мы — два обломка корабля, потерпевшего крушение в жизни. Бури быта, обязанностей, дурных людей и т. п. переживали, вцепившись друг в друга, потому что одинаково не умели просто жить, и любили выдуманную жизнь, ты — в том, что фантазировал, я — в тебе. И какое значение в этом океане имели подозреваемые

или реальные любовники, — разве важно, с кем столкнулись обломки, когда в бурю на мгновение оторвало друг от друга?

Когда я пришла к тебе — я к жизни была привязана многими веревочками: родители, соседи, активисты, интернационалисты... и все веревочки дергаются, мотают меня. А ты помог мне все обрезать, и я получила самый великий дар — волю. Я стала единицей без дерганий во все стороны, я узнала, чего хочу, а раньше — чего не хочу. На второй год нашей жизни снова появились веревочки — быт (ради отца, в основном), моя работа, твоя беззаботность, связи с ничтожными людьми, ревность, деньги и многое другое — время, когда ты уехал в Москву, помогло мне оборвать их, и я снова стала самостоятельной, но без твоего участия.

Я горда, что ничто меня не может уже испортить или изменить в том дурном измерении, которое мы с тобой оба одинаково не принимали. Все. Не ищи меня. Это последнее. Последний мой — твой, тебе принадлежащий вздох, память, желание... возможно, о желании трудно рассуждать. Помни обо мне только хорошее, я тебя никогда не забуду”.

Я скомкал записку и заплакал, впервые за долгое время. Потом я лег на диван, не раздеваясь, и пролежал так всю ночь в бесчувственном оцепенении, то задремывая, то пробуждаясь.

Утром первой моей мыслью было кинуться за Ириной, но представив чопорные лица ее родителей, школярски-стыдное объяснение с ними, ее — среди допотопной мебели, надутую, которой хочется дать щелчок, чужую, оскорбленную, с тем отгалкивающим визгливым голосом, присущим ей только на родине, — я вынужден был отказаться от своего намерения.

Не побрившись, я собрал в сетку пустые бутылки и пошел в пункт сдачи. Этому сырому подвалу соответствовало мое опухшее от горя, как при флюсе, лицо. Там, как обычно, стояла очередь. Две бабки судачили о странном происшествии. В районном отделении милиции вывесили объявление, что разыскивается пропавшая двухлетняя девочка, указывались ее приметы. Одна из бабок раскрыла тайну: “Так ее ж убили, невинную. Сделали из нее мыло, а кровь продали за границу”. — “Откуда вы это знаете?” — поинтересовалась соседка. Бабка без запинки соврала: “Сама в газете прочитала”.

Ход моих мыслей соскользнул на прежний мучительный круг. Перед моим взглядом мелькали комбинации дней, пейзажей, слов, выражений ее лица. Это был безуспешный поиск — найти первую трещину, первопричину: когда же это началось, почему это случилось?

Вернувшись домой, я дико взглянул на ее черное вязаное платье, перекинутое через спинку стула, схватил лист бумаги, размашисто, крупными буквами написал: “Меня нет дома”, выскочил на лестницу и придавил его кнопками к двери. Затем отключил телефон и остался наедине с ее вещами, отпечатками ее души.

Я провел затворником почти месяц, выходя наружу только в столовую или в магазин, вытесняя воспоминание за воспоминанием, разбирая по эпизодам свою семейную жизнь, как неудавшуюся конструкцию, казня себя за ее развал. Брак на производстве бумажных цветов.

За окном между тем расцвело лето. Я выкупил из ломбарда плащ и французские ботинки и выехал к отцу. Никогда я так не чувствовал близости к нему, как в те моменты, когда обстоятельность прижимали и притесняли меня. Не было для меня роднее человека, чем он, когда я попадал в беду и скрывался под широколиственную сень его житейского опыта.

То, что разделяло нас: разница в возрасте, его причуды, ипохондрия и терпеливость шпагоглотателя — в кри-

тические минуты не имело значения. Я нашел его в общезжитии. Мой старик сидел в каморке девять квадратных метров и готовился к лекции. Приезд сына явился для него слишком неожиданным, и от волнения у него запрыгала щека, так что он вынужден был придержать ее пальцами (год назад у него случился “парез” лицевого нерва).

Держался он бодро, и в фигуре у него опять появилась та подтянутость, которая свойственна профессиональным военным и преподавателям. Он читал лекции на двух факультетах. Изучающим язык он читал по-французски. И со мной он заговорил вдруг с парижским прононсом:

— Мон фис, мон фис.

— Ну, ну, все в порядке, — пробормотал я, обнимая его за плечи и слегка погашая его порыв.

— Выглядишь ты превосходно, — сказал отец, — и держись молодцом.

— Дальше некуда.

— Довелось мне услышать здесь твою сюиту, — продолжал отец, не снижая восторженного тона, — пронзительная вещь, но слишком много грусти.

— Бетховен тоже был не весельчак.

Он остро взглянул мне в лицо.

— Надеюсь, у тебя все обошлось?

— Обошлось, — сыронизировал я, — мы подали на развод, и она уехала.

— Прости неловкое выражение, — сказал отец и поцеловал меня в голову.

Мы вышли на улицу, отец хотел показать мне город, по пути он рассказывал о своей работе и благодарил меня за то, что я подтолкнул его к отъезду, и за письмо, в котором я будто бы с неожиданной и философской точки зрения обрисовал его жизнь. Это письмо он часто перечитывает, черпая в нем оптимизм и стойкость.

Истины ради — не обошлось в его жизни и без потерь, утратил он волшебную легкость и озорство ума. И все же ни в ком я не находил такого понимания, что у меня на душе, — и отзывчивости на мою боль.

Если символом супружеской любви для меня с детства явилась заключительная фраза народной сказки: “и умерли они в один день и час”, то символ нашей прочности я однажды увидел на кладбище Александро-Невской лавры. На одной из плит были выгравированы даты жизни отца и сына, оба покоились здесь, соединившись и после смерти.

Провожая меня вечером на вокзал, отец робко спросил, как у сына обстоят материальные дела, извинившись, что затрагивает эту скучную и неприятную тему. Я коротко сказал, что деньги пока есть. Он замялся и длинно объяснял, что он случайно получил лишние сто рублей за публикацию научной статьи “Двойной облик Распутина”, предложил их мне взять — все-таки не помешают.

Последнее, что я запомнил из нашей встречи, это его нежно искривленное лицо с прыгающей щекой, которую он придерживал пальцами.

Срок развода приближался. Не вытерпев мучительного ожидания, я заказал междугородний разговор. Сняла трубку старуха — “Васса Железнова”. Она сделала вид, что не узнала меня, и когда я с отчаянием выкрикнул, что я еще числюсь мужем Ирины, она отчеканила, что внученька в отъезде, то ли на юге, то ли в Москве, точно она не знает, но советует не разыскивать ее.

Для меня это послужило сигналом, что пора возвращаться в мир. Внезапно я заметил в окружающих перемену, точнее перемену в себе...

Я отчетливо и бесповоротно увидел, что многие из

тех, с кем мне приходилось иметь дело, уже никогда не переменятся, а только постареют.

Каждый человек исключителен и неповторим и в силу этого имеет право на любовь. Но до каких пор? Вероятно, пока он движется.

Те, кто блистал на поэтической сцене или в кружке друзей еще пять лет назад, вдруг потускнели, застыли. Кто ударился в риторику, кто в карьеру, а кто просто стал исполнительным чиновником с черными нарукавниками. Каждый сделал свой выбор. Павел Фешкин — прелесть и шалопай, защитил диссертацию и женился, но скрывает этот факт от своих студенток. Музыковед Кудасов — беспутный гений и повеса — устроился редактором в журнал. Песенник Парафинов разбогател и говорит только о своей "Волге".

А я потерял снисходительность. Я испугался быть жестоким, изменил себе, согласившись на брак, и в результате стал безжалостным.

Пути совершенства неисповедимы, но пути к нему заповеданы. Но мы слабы и делаем вид, что не знаем этих путей. Оттого-то и кажется нам чудом вдруг созревший талант или нравственный дар.

И тут монолог мой оборвал истеричный телефон. Тени моих оппонентов расступились, я снял трубку и услышал надтреснутый и родной бас Кудасова. Намечается небольшой выпивон. — Пауза. — Будут все свои. — Подчеркнул "свои". — Обязательно приезжай. Ты же знаешь, как мы тебя любим. — Хемингуэвская мужественность в низком регистре. — Покупать ничего не надо. Жду.

Жизнь подправила меня, подсказав, что совсем не обязательно трубить о своем разрыве, сжигать позади все мосты.

Вечер у Кудасова выдался на славу. Вечер, прощальный для Черданцева. Правда, не было прежнего блеска или взрыва эмоций, как в юности, и речи стали приглушенной и реплики язвительней. Но стиль их сохранился. Поразительно, как они столько лет держались вместе. Ни женитьбы, ни дети, ни поражения не разъединяли их. Под занавес Черданцеву преподнесли сюрприз. Отворилась дверь, и вошла Надя. В длинном голубом платье. Как бы неся впереди на вытянутой ладони свою балетную и милую улыбку.

Ей освободили место за столом. Она села, короткий взгляд в мою сторону, кивок в ответ на мой поклон. Самообладание удивительное, подумал я. "Какими судьбами?" — спросил я радушным тоном. — "Земля слухом полнится", — ответила она, не повернув головы. Она сидела очень прямо, прижавшись спиной к стулу, слишком независимая и напряженная, чтобы можно было поверить в ее безразличие.

Кто-то объявил антракт, все вышли из-за стола, и Кудасов попросил Надю станцевать. Когда-то она училась в хореографическом училище, но бросила его, не выдержав муштры, тем не менее балетные уроки не пропали даром. Танцевала она, забывая все на свете. Восбще я ни в ком не встречал этого редкого качества, умения каждый день превращать в праздник, находя для него любой повод.

Из дома мы вышли вместе. Я взял ее под руку.

— Как ты жила это время?

— Тебя это, похоже, не интересовало.

— Я перед тобой виноват, Надя.

— Я уже все тебе простила. Я только не понимаю, зачем ты так все оборвал.

— Тогда я не мог ее оставить. Она была слишком слаба.

— Это ты был слишком слаб.

— Возможно. Я должен был куда-нибудь уехать, чтоб не потерять рассудка.

— Ты так и сделал.

— Именно.

— Но вернулся ты к ней.

— Я вернулся в свой дом, где была и она, не как жена, а как моя сестра.

— Туманно что-то.

— Долгое время мы жили, как брат с сестрой.

— Ну, знаешь!.. — Надю передернуло.

Мы поднялись в мою холостяцкую квартиру, и Надя сразу начала говорить, разминая пальцами папиросу, рассыпая по голубому платью мелкие завитки табака.

— Ты не удивляешься, что я снова здесь? Если хочешь знать, я себе это прощаю. Мне нужен ты, то ощущение жизни, которое возникает у меня с тобой. С другими все элементарно. Мир с ними предстает как дом моделей, гастроном или в лучшем случае кинотеатр. А с тобой иначе: кажется, что находишься у кратера вулкана, вокруг грохочет, сверкает, страшно и хорошо. Не морщи, пожалуйста, нос. Мне лично не до смеха. Между прочим, у меня в сумочке письмо. Я собиралась отправить его тебе неделю назад, только духу не хватало. Все откладывала да откладывала, а сейчас, по-моему, самый удобный повод вручить его адресату.

— Может, не надо, — сказал я полувопросительно. — К чему письмо, раз встретились.

Она пропустила мое сомнение мимо ушей, решительно достала письмо и твердо протянула его мне. Заранее можно было догадаться, о чем письмо, а именно: о моем одиночестве и ее непомерной любви ко мне и сострадании, выраженных порывисто и открыто. Ей был присущ пафос какого-то отчаянного мужества, сквозивший даже в ее бегущем почерке. Невольно я оказался в неподходящей для себя роли судьи.

Она ждала, сосредоточив в себе нежность, зажав испугленную надежду, будто письмо вернет время вспять, вернет гармонию наших встреч, а я слышал только мерное капанье секунд в темную Лету.

Что я мог сказать: что "все проходит" и, наоборот, "ничего не проходит"... Я молча положил письмо, не разворачивая его, в ящик стола.

По ее лицу пробежала судорога, она улыбнулась болезненно-обмелевшей улыбкой:

— Спасибо, что ты ничего не сказал. И не сфальшивил.

После отъезда Нади наступило окончательное, глубое и благотворное одиночество. В наши дни одиночество превратилось в жупел, в проклятие, от него бегут всеми способами. Сидя у телевизора, спеша на футбол, отправляясь компанией на дачу, вступая в случайные браки, человек разучился оставаться наедине с собой.

В широком смысле я не был одинок. Никогда прежде, за исключением детских лет, я столько не музицировал. Началось это со случайного как будто жеста, когда я включил проигрыватель и поставил Антонио Вивальди — "Концерт для гобоя с оркестром". Созвучие с самим собой, услышал я в его соло — соответствие с собственной трехчастной повестью...

В конце сентября подала о себе весть Ирина. Она позвонила с междугороднего пункта. Голос ее был тороплив и враждебно-сух.

— Это я. Надеюсь, узнал?

— Конечно.

— Мне нужно свидетельство о разводе. Срочно.

— А что за спешка? — спросил я протяжно.

— Со мной случилось то же, что некогда с тобой. — Она помедлила и отчеканила: — Я выхожу замуж.

— Поздравляю, — сказал я онемевшими губами, — но его не было.

— Кого не было? — От замешательства она перевела "процесс" в неодушевленный план.

— Развода не было, — сказал я со злорадством.

## ПРОЗА

— Что же ты мне раньше не сообщил? — Она явно была в панике.

— Куда? Ведь ты исчезла, а твои родные запретили мне тебя искать.

— Я все лето ждала твоего письма... Почему же ты молчал? — Ее голос задрожал.

— Положился на судьбу и тоже ждал от тебя известий.

— Вот мы и проворонили друг друга, — сказала она то ли с грустью, то ли с издевкой. — А теперь мы решили уехать.

— Завербовались на Дальний Восток? — спросил я с улыбкой.

— Нет, еще дальше. Очень далеко. Ты понимаешь меня?

— Не совсем.

— Вспомни свой сон про Париж.

Меня озарило: птичка решила выпорхнуть из клетки...

— Ты это твердо решила?

— Да. Я не могу здесь жить без тебя. Когда мы получим ответ, я приеду в Ленинград на день или на два... попрощаться с теми, кого я люблю. Если ты захочешь, мы увидимся в последний раз... Как у тебя с деньгами? Я могу прислать.

— Обойдусь.

— Прошу тебя, дорогой, оформи развод побыстрее. От этого зависит моя судьба.

Я понял, что все кончено. Я пообещал ей сделать все, о чем она просила. И выполнил это. В знак благодарности она присылает мне на Новый Год и ко дню моего рождения поздравительные открытки с видами зарубежных городов. Я ей ни разу не ответил. Поскольку с тем миром одностронняя связь: они нас видят, а мы их нет.

## ПОЭЗИЯ

### ВАЛЕНТИНА СИНКЕВИЧ

# 2

## СТИХОТВОРЕНИЯ



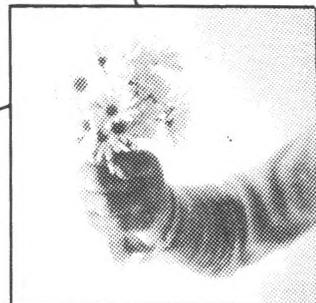
### СЕННАЯ ЛИХОРАДКА

Опять сплошное наваждение.  
Средь синевы, и золота, и пеня,  
трав золотистых, и отрав цветенья,  
осеннего, шального вдохновенья —  
опять я не могу дышать —  
впустить  
весь этот шум цикадный,  
осенний, липкий гомон жадный,  
все спело-наливные травы,  
весь привкус меда и отравы.  
Дыханья рвется нить,  
и воздуха, как хлеба  
у меня когда-то, мало.  
И будто бы войны,  
а не зимы начало  
идет за этим золотым  
цветеньем трав.

\*\*\*  
О, как разжать сумели мы  
клыки стальные дикой воли?  
Угнав от материнской мшистой тьмы —  
псом волка сделать как смогли в неволе,  
остановить смертельный волчий бег,  
и вытравить воспоминание о травах?

И вот собаке человек — есть Бог.  
Луна есть в человеческих отровах.  
И нет уже в крови величия беды.  
И страшен вой беззубо человекьи рты,  
И шамкают беззубо человекьи рты,  
На цепь сажая воли клочья.

Ласкает человеческий коварный глаз  
живую шерсть щенка волчицы.  
И только иногда собаке снится  
огромный волчий на луну оскал...  
Но наземь кровь с луны стекала.  
И непонятно дерево дрожало.  
И человеку волк сапог лизал.



## Литература метрополии: взгляд из Парижа

### ДВЕ КНИГИ НОВЕЛЛЫ МАТВЕЕВОЙ

В Москве, в двух разных издательствах, вышли книги стихов Новеллы Матвеевой. Возникает вопрос — почему так вдруг издают поэта, которого публиковали сравнительно мало, поэта, которого советская критика чаще всего замалчивала, а если и не замалчивала, то слегка (и свысока!) поругивала за "книжность" или "литературщину" или "экзотику". Все эти термины, как известно, в советском литературно-критическом арсенале — бранные слова. Это в наши дни. А лет двадцать пять назад они звучали смертным приговором поэту. Если в издательской рецензии хоть одно из этих слов фигурировало, книга к изданию не принималась. Знаю по себе. Не случайно ведь первую мою книгу выпустили, когда мне было 35 лет!

Итак, книга Новеллы Матвеевой "Закон песен". Посмотрим, что представляет собой само стихотворение, давшее название книге:

Хороводы вакханок в экстазе,  
Фавна к нимфе копытца несут,  
Хорошо, как рисунок на вазе,  
Но для лирики — чистый абсурд!  
Лишь небесная страсть остается,  
В песнях вечной — Лаура, живи,  
Существует, но вряд ли поется  
Земноводная грубость любви.

Вот эта строгая, эта ригористическая позиция — безусловная реакция на то, что в последние годы для литературы, и для поэзии нет, по сути дела, запретных тем, запретных слов. Дело в том, что советское ханжество, возведенное в ранг идеологического закона, поистерлось, одряхлело, и поэты — да и прозаики — кинулись на все, что было запретным. Это особенно видно по литературе новой эмиграции, но и в СССР цензура свою роль по-

лиции нравов утратила, поняв наконец, за полвека, что не в этой области лежит угроза существованию партократии...

И, как всегда в подобных случаях, "литераторы обрадовались, бис!", и в самом деле хлынул поток полупорнографии в русскую литературу — от Всеволода Кочетова — ультрапартийца и шовиниста, до Юрия Милославского — эмигранта и израильского гражданина... И вот эта волна вольностей, канализировавшаяся вместо политики в секс, и вызывает резкое осуждение поэта Матвеевой. Если же заметить, как изменилась стиховая манера Матвеевой за последние годы — вместо резких ритмов — медлительный, расплывчато-торжественный, почти допушкинский многостопный ямб — то придется отметить интересное явление: повторяется то, что в литературном процессе начала прошлого столетия получило название — борьба между архаистами и новаторами. У Тынянова, напомним, есть об этом замечательная книга. Итак, Новелла Матвеева четко определяет свою литературную позицию, как позицию сегодняшнего архаиста. Сказывается это на всех уровнях стиха вплоть до лексики — так критиков, с которыми она полемизирует, иначе, как З О И Л А М И в своих полемических поэмах Матвеева и не называет.

Если определять как архаистов некоторых из поэтов, начинавших в конце пятидесятых, то следует отметить, что архаистами в том самом смысле, как этот термин понимает Тынянов, говоря о "Беседе любителей русского слова" первых лет девятнадцатого века, оказываются несколько поэтов "медного века": прежде всего, и наиболее определенно заявляет о себе своими двумя новыми книгами Новелла Матвеева. Она, видимо, и есть зерно и катализатор этого едва намечившегося расслоения среди нашего поколения, бывших поэтов "оттепели". С меньшей определенностью, но без сомнения сюда же следует отнести Александра Кушнера, и, возможно, поздно начавшего публиковаться Олега Чухонцева.

Интересно, что именно Матвеева, первой распространившая сонет как жанр, на область иронии и прямой сатиры, в книге "Закон песен" возвращается к сонету более чем традиционному: тогда как в двадцатом веке почти все сонеты от Волошина до нынешнего молодого поэта

Ростислава Вогака написаны энергичным пятистопным ямбом, сонеты Матвеевой последних лет — это длинная, торжественная строка шестистопного ямба, классически разделенная цезурой на два полустишия:

Богопротивная, дрянная вещь тоска.

Три вида есть у ней, самым грехом

творимых:

Тоска ни по чему, Тоска из пустяка,  
Тоска по случаю причин непоправимых.  
Тройная эта блажь особенно близка  
Нам, людям севера. В умах неутомимых  
Мы сотни смастерим себе терзаний

мнимых

Пока судьба и впрямь не стиснет нам бока.  
Вот так из ничего мы с важностью умеем,  
Чудовищ созидать, Гордясь душевным

змеем,

Таким тропическим, когда кругом зима!  
Его мы пестуем, Но нет в нас мысли ясной,  
Что здесь мы — не одни, что и к другим

в дома

Нет-нет и заползет наш баловень ужасный.

Обратите внимание: даже лексика вслед за ритмом становится несколько архаической, а отсюда — неминуемо и образная система — вместо современных многослойных метафор, сюрреалистически сдвинутых эпитетов, мы видим странный прием последовательно выраженного развернутого на весь сонет сравнения, почти аллегории, столь любимой поэтами допушкинского периода. Конечно, архаизм Матвеевой — это архаизм сегодняшнего поэта, с его сегодняшним языком, но язык ее — и это не только в сонетах, во всех новых стихах — максимально очищен от неологизмов, от употребления слов в их полужаргонном, смещенном смысле, что характерно для поэтов того же, нашего же, поколения, но относимых мной — в согласии все с теми же тыняновскими терминами не к архаистам, а к новаторам: Вознесенский, Соснора... Таким образом, как раз книга Новеллы Матвеевой "Закон песен" кажется мне рубежом, который сегодня разделяет поэтов "медного века" на архаистов и новаторов, что выражается, как и в прошлом веке, в разном, полярном подходе к языковому материалу. У поэзии всегда "вначале был ритм", за ним неминуемо идет соответствующая ему лексика — слово, которое определяет уже саму образную систему. И, что характерно для нынешнего творчества Матвеевой, ее образная система становится выдержанной в едином клю-

че, иногда на протяжении длинной поэмы, и максимально простой, классичной. Метафора уступает место эпитету.

Интересно также, что как бы следуя традиции пушкинских времен, поэт уделяет множество строк и целые стихотворения полемике с критиками. Поэма "Золото проектов" по сути представляет собой попытку создать сегодняшнее "искусство поэзии" — теоретическую поэму, перекликающуюся по жанру с пресловутым поэтическим трактатом Буало. Впрочем, в мировой литературе наших дней Матвеева тут не одинока — свой "Поэтический трактат" несколько лет назад опубликовал польский классик, лауреат Нобелевской премии Чеслав Милош. В поэме Матвеева в отличие от Буало, никого ничему не поучает, но, полемизируя, утверждает творческую позицию.

Содей же, о зоил, ты действие благое:  
Отстань — весь в молниях, весь в тучах,  
площадной  
Учитель скромности — дай мне на миг  
покоя,  
Что толку ментором работать надо мной?

И лексика поэмы, и ритм ее, весьма близкий к александрийскому стиху Буало, нарочито архаизированы. Но главное, что защищает Матвеева — право поэта на наследие всей мировой культуры, то самое, которое советские критики от сохи и станка, объявляющие, что народу понятно, а что непонятно, всегда преследовали с особой яростью.

Но тщетно столь гневит, столь возмущает  
сноба  
Музейной темой подшибленный поэт,  
Что для глупца "музей", пылица, двери  
гроба,  
Для человечества — бессмертной мысли  
свет.

И далее, с той же прямоотой и точностью "О муза, дай мне песнь сложить о людях книжных!" Именно те, кто от собственного невежества, прочтя что-либо не на подножную тему, кричат: "Экзотика! Оторванность! Побег!", они-то и есть подлинные ретрограды, а не те поэты, которых они яростно обвиняют в так называемой "литературщине", стоит только упомянуть в стихах какое-либо имя не совсем современное...

Полемизируя с властвующим невежеством, которое свою агрессивность унаследовало от пролеткульта, Матвеева

пишет: "Поэты Фермопил, певцы горячей Трои, заметь — художники и есть мои герои" — это ответ на ортодоксальное правило советских критиков: искусство не должно говорить на темы искусства — иначе это "литературщина". Заметим в скобках, что это именно то, что Мандельштам скромно именовал "тоской по мировой культуре". Вот это стражи соцреализма и стараются вытравить из поэзии, вот за нее-то и воюет в своем поэтическом трактате Новелла Матвеева. Заодно, что вполне вяжется с утверждением поэтического консерватизма, с возвратом к классике, Матвеева отрицает вошедший в моду в семидесятых годах (а на Западе много ранее) верлибр, или свободный стих, едва отличимый от прозы, и тем самым невероятно легкий для любого графомана: "В кругу полубогов есть боги кварталеры, Парнас для них не дописал законы: Проста или сложна Да будет рифма вновь такой, какой придется, одна лишь просьба к ней: пусть рифмой остается: дочь Эхо, но не дочь анархии она".

Итак, сделаем краткий вывод: романтизм в девятнадцатом веке был делом новаторов — Законно предположить, что ныне он — удел именно архаистов, но, во-первых, это не так, ибо новаторы даже в более молодом поколении тоже склонны к романтизму, а, во-вторых, похоже, что вне романтизма поэзии вообще нет, ибо реалисты тянут к прозе, а модернисты — к абстракции, что уводит в иные искусства...

Одновременно с книгой "Закон песен" вышел другой сборник стихов Матвеевой, называется "Страна прибоя". Страна прибоя — это не только Дальний Восток, где прошло детство поэтессы, но это — в соответствии с ее неизменной романтической позицией — вообще страна мечты, экзотики, романтики, где бы она ни была, она не географический, а поэтический фактор.

Кстати, это дает возможность стусевать насколько возможно тот факт биографии, что Дальний Восток в стихах Матвеевой не обязательно советский Дальний Восток, дает умолчать о той нежелательной для советских критиков и цензоров детали, что Новелла Матвеева происходит из семьи эмигрантов-возвращенцев, из самой многочисленной русской эмиграции двадцатых годов — харбинской, часть которой вернулась в 1945-49 годах в СССР, а большинство переселилось в Америку и Австралию.

Песни Матвеевой, с их детской интонацией и неудержимой романтической настроенностью, лиричные и грустно-иронические, известны по всему миру. Что же касается стихов, то у них, как ни странно, очень мало общего с песнями Матвеевой — общее только определенная экзотика там и тут. В связи с этим свойством матвеевской поэзии, которое в официальной советской литературе объявлено нежелательным еще в двадцатых годах, да так нежелательным и осталось, надо заметить, что молодой Горький как-то сказал: "Романтиками становятся, как правило, авторы, которые живут в сером окружении, серой жизнью, а хочется совсем другого... Люди же, чья биография ярка и многообразна, становятся реалистами". Как всегда, буревестник оказался однокрылым: второе его утверждение — полная чепуха, достаточно вспомнить хотя бы Киплинга, романтика из романтиков, жизнь которого была тоже, как и его рассказы и стихи, полна приключений.

Интересно, что в стихах этой книги впервые проскальзывает тема эмигрантской жизни, хотя и очень косвенно, но призрак харбинской эмиграции "бродит по европе" матвеевских стихов. То тема эта проскользнет в стихотворении "Цветок багульника", то более прямо названная: "Мост через Янцзы":

Над желтой Янцзы-цзян мост  
железнодорожный,  
Какой гигант его построил неизвестный?  
Ах, поезд проскакал, издав свисток  
тревожный,  
Но людям здесь нельзя, так редко свит  
железный...

Обстоятельства жизни не дали поэту возможности путешествовать по России, но стихи ее путешествуют по всему миру. В ранних стихах мелькают священные камни Европы, такими, как будто они и вправду увидены собственными глазами. Но и в последних стихах есть то, что когда-то Матвеева назвала "живопись веселого рассвета". Самое бесприемное воплощение традиционного романтизма в современной русской поэзии — это стихи Матвеевой. Даже ирония, даже шутка у нее того типа, который роднит ее стихи с великими романтиками прошлого столетия и неоромантиками типа Киплинга, Георге, Багрицкого.

Эта упорная верность самой себе имеет причину, точно осознанную и



ным "политиком", как называли его зека, а окружали Вадима, главным образом, "сибирские мужики, многие из которых и поезд впервые увидели, когда их везли в этот лагерь этапом". Лагерный дневник "политика" Делоне — о тех, кто окружал его.

Вот Вася Харланов, "щуплый паренек, которому едва перевалило за 18 лет". Окончив шоферские курсы, он вернулся погостить в деревню. Вместе с друзьями решил "обмывать колеса" и погнал машину в поле, где и задавил поросенка. Поросенок оказался колхозным. ("Кто же своего ночью гулять отпустит"). Присудили к двум годам за хищение государственной собственности.

Еще один солагерник — Егор. Он "сделал маленький налет на магазин в селе соседнем". Деньги были нужны, чтобы выбраться как-то с Севера... Присудили к пяти годам.

А вот Костя, по прозвищу Конопатый, сидел за изнасилование, "привык убивать наверняка".

Москвич Миронов "отбывал срок за то, что, будучи начальником ударного комсомольского отряда, обсчитывал работы". "На всей двухтысячной зоне не было ни одного человека, на которого бы этот Миронов не донес".

Санька Арзамасский — с десяти лет привык к допросам. Его деда еще в двадцатые годы сослала в Сибирь советская власть. Отец санькин никогда не держал

в руках документов, поскольку ссыльным их на руки не выдавали. Связался отец с ворами. Санька же пошел гулять по детприемникам.

...Большинству своих "героев" Вадим Делоне посвящает одну-две, максимум три страницы. Герои, как правило, сами рассказывают о себе, и, слушая эти истории, понимаешь, чем страшна советская власть. Она мяла и калечила обитателей тюменского ИТУ-2 с детства. Она пыталась согнуть их в бараний рог, а в лагере относится к ним, как к нелюдям. Стоит ли удивляться, что многие заключенные давно потеряли людской облик. Доносы, кровавое сведение счетов, власть кулака — советское "исправительно-трудовое учреждение". "Видишь эту толпу... "Народ!" А ты за них сидишь!.. Мразь!"

Как и все заключенные, Делоне жил по двум законам: первый — никогда не думать о еде, второй — никогда не думать, сколько дней осталось до освобождения. Он соблюдал эти законы и — выжил, вышел на свободу, а потом был вынужден уехать во Францию, на родину предков.

Я не случайно написал "был вынужден". Для многих, к коим я причисляю и себя, эмиграция — это свобода; Делоне же воспринимал эмиграцию как "бессрочное отчуждение людей от их подлинной жизни, от их прошлого, как и тюремное заключение. Правда, харч получ-

ше, коридоры длиною в авиарейсы, да можешь выбрать сокамерников по собственному усмотрению".

Не уверен, что многие — как те, что вырвались на Запад, так и те, что вынуждены жить в "большой зоне" (одна шестая часть суши!) — согласятся с Вадимом Делоне. Но ведь единицы участвовали, как он, в правозащитном движении в Советском Союзе, и он, прошедший через психбольницы, тюрьмы, пересылки и лагеря, не мог смириться с тем, что оказался на свободе, когда "тысячи... соотечественников маются по тюрьмам или ожидают ареста".

Вадим Делоне пережил тюрьму и лагерь, но не вынес испытания свободой. Он умер тридцати пяти лет от роду. Он оставил нам одну-единственную книгу и — стихи. У него есть такие строчки:

Но если я просил у Бога,  
То за других, не за себя...

И в одной-единственной книге "Портреты в колючей раме", удостоенной премии имени Даля, он рассказывает не столько о себе, сколько о других. Будут ли помнить о нем те, за кого он просил у Бога?..

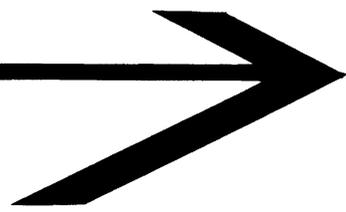
Александр Лазарев



Чеки и денежные переводы  
просьба направлять  
по адресу:  
RUSSICA BOOK & ART  
SHOP, INC.  
799 BROADWAY,  
NEW YORK, NY 10003  
U.S.A

Остроумные и язвительные вос- Талантливая повесть о жизни Острый сюжет и выразительный поминания известного карика- ленинградской интеллигенции, о язык повествования — вот, что туриста, который ныне находит- превратностях любви и творчес- отличает эту книгу.  
ся в советском концлагере. кой одержимости. 117 стр. .... \$6.00  
96 стр. \$7.00 96 стр. \$7.00

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ТРЕТЬЯ ВОЛНА»



ГАЙТО ГАЗДАНОВ



1903 – 1971

## ВЕЛИКИЙ МУЗЫКАНТ

### ПОВЕСТЬ

Сверлов действительно жил и мучился иначе, чем другие люди. Он был чрезвычайно беден — хотя, взглянув на него, никто бы этого не подумал, так как Борис Аркадьевич — его звали Борис Аркадьевич — хорошее у вас отчество, идиллическое, — сказал я ему как-то; — да, но мне оно плохо подходит, — ответил он — всегда носил самые дорогие костюмы; да и жил он в одном из новых домов возле Champs de Mars в небольшой, но прекрасно обставленной квартире — с коврами, хорошей мебелью, роялем, креслами и картинами; и при всем этом в квартире после тщательнейшего обыска нельзя было бы найти даже пяти франков. Бывало так, что Борис Аркадьевич ничего не ел по два, по три дня; но каждое утро он тратил полтора часа на свой туалет, брился, принимал ванну, долго делал гимнастику и потом с беззаботным видом выходил на улицу, держа в руке — с несколько нарочитой церемонностью — перчатки и квадратную трость; и только, когда он проходил мимо гастрономических магазинов, его ноги на секунду становились мягкими, а в глазах темнело.

Я не видел человека, которого наружность так не соответствовала бы его душевным качествам. Бориса Аркадьевича нередко принимали за профессионального боксера; однажды, когда мы зашли на ярмарке в маленькую палатку, где были расставлены различного рода силомеры и Борис

Аркадьевич без усилий выжимал максимум того, что могла показать стрелка, со всех сторон говорили: ну, это профессиональный атлет. Его одежда вводила в заблуждение многих людей, которые на улице обращались к нему с просьбой о помощи — а у бедного Бориса Аркадьевича с утра ничего во рту не было. Один мой знакомый, считавший себя физиономистом — какой он физиономист? он дурак, а не физиономист — сказал с раздражением Борис Аркадьевич — заметил после того, как увидел Сверлова:

— Вот человек, у которого никогда не было никаких сомнений и никаких страданий. Теперь такие редко встречаются; на каждом лице я вижу следы потрясений.

Мне показались несколько нелепыми его выражения; о "следах потрясения" он говорил так, точно это были какие-нибудь геологические наслоения. Физиономист, однако, был виноват только в том, что его знания — достаточно обширные в своей — впрочем, сомнительной — области — не шли дальше констатирования того, что известное лицо подходит к такому-то типу, который, в свою очередь, делится на две категории, причем вторая из них наиболее характерна для людей уравновешенных и не терзаемых душевными волнениями. Физиономист добросовестно осмотрел Бориса Аркадьевича, и с точки зрения нетрудной своей науки был совершенно прав. Когда я ему сказал, что, в общем, он ошибается, он ответил, что, значит, в лице Бориса Аркадьевича есть какая-то неправильность. "Раз неправильность, то о чем же тут говорить?" — сказал он; и, удовлетворившись этим объяснением, он стал избегать встреч со Сверловым и даже иногда, встречая его, нарочно отворачивался, так как Борис Аркадьевич невольно напоминал ему о неудачном его определении — а причина неудачи крылась все в той же неправильности, которую его неподвижное знание не могло предвидеть.

Вместе с тем Борис Аркадьевич не знал ни спокойствия, ни радости; и если бы мне нужно было выбрать из всех определений чувств — таких условных и которых удачность или неудачность зависит чаще всего от простого звукового совпадения или от душевного состояния человека, которому об этом говорят или который об этом читает — и я знал одну женщину, считавшую "Братьев Карамазовых" эротической и вовсе не мрачной книгой — потому что она прочла ее во время своего свадебного путешествия — те определения, которые подходили бы к главным чувствам Бориса Аркадьевича, я остановился бы, пожалуй, на том, что это была тоска и ненависть и еще смертельное томление, приходившее к Борису Аркадьевичу, когда он просыпался и покидавшее его, когда он засыпал. Он рассказывал мне, что впервые испытал его еще в детстве — все кажется, говорил он, что кто-то идет следом за вами, и вы даже где-то его видели, и нет никого и только страшная тишина и вы один.

Я долго не знал, что делает Борис Аркадьевич со своим обширным досугом. Читать он не любил — вернее, перечитывал по несколько раз все одни и те же книги. — Вы литературы не любите? — спросил я его. — Очень люблю. — Но не любите читать? — Некоторые книги я охотно читаю, — ответил Сверлов. — Потом, что такое литература? Пятьдесят книг? Я их прочел. Следовательно, Борис Аркадьевич тратил время не на чтение.

Он действительно ничего не делал. Вставал поздно, выходил на улицу в час дня, возвращался в четыре, до вечера лежал на диване, затем шел в кафе или в кинематограф. Когда кто-то спросил, не тяготит ли его такая жизнь, он удивился и ответил, что лучшей жизни ему не нужно. — Лучшей в каком смысле? — В смысле приятного времяпрепровождения, — резко

сказал Сверлов и оборвал разговор. Ему вообще была свойственна резкость, отрывистые ответы и отсутствие той усыпительной и монотонной, но приятной мягкости голоса, которой отличаются французские интеллектуалы и некоторые русские любители деликатных и продолжительных дискуссий. Это объяснялось, как мне кажется, тем, что всякий или почти всякий образ общения с окружающими был Борису Аркадьевичу непривычен и неприятен. Он знал из книг и потому, что его учили и воспитывали, все правила, которыми руководствуются люди, вступая друг с другом в хотя бы кратковременные и условные, хотя бы чисто словесные отношения — но они неизменно оставались для него отвлеченной и нелюбимой наукой. "Я с каждым человеком говорю, точно на иностранном языке", — заметил он. Это было довольно верное определение того характера речи, который неизбежно появлялся у Бориса Аркадьевича при встрече с каждым новым человеком; и тогда Борис Аркадьевич действительно начинал походить на иностранца, который хорошо знает чужой язык и правильно говорит — но говорит с усилием и некоторой бессознательной неохотой и враждебностью.

Он обладал несомненным юмором — но резким и недоброжелательным; суждения его носили почти всегда категорический характер. Ему было двадцать восемь лет.

Его появление в обществе Великого музыканта, Елены Владимировны и Франсуа Терье произошло следующим образом. Он сидел за соседним столиком; гарсон кафе в ответ на восклицание — гарсон, кофе! — сделал рукой пренебрежительный жест — подождете, дескать. Лицо Бориса Аркадьевича стало белым от бешенства — и в эту минуту его увидела Елена Владимировна.

— Посмотрите, Франсуа, — сказала она, обратившись к Терье с невольным испугом, — какое страшное лицо. Борис Аркадьевич застучал палкой по столу и стучал до тех пор, пока к нему не подошел гарсон. — "Позовите метрдотеля", — сказал Сверлов. Когда подошел метрдотель, Сверлов сказал:

— Я заказал кофе. Объясните гарсону, что нечего делать жесты вместо ответа. Здесь, я полагаю, не кабачок на Виллетт.

Кофе тотчас же был принесен, и Борис Аркадьевич замолчал, хотя в его глазах еще продолжала стоять тень того страшного выражения, которое испугало Елену Владимировну.

— Интересное лицо, — сказал Алексей Андреевич.

В эти минуты Борис Аркадьевич увидел меня и поклонился издалека.

— Вы его знаете? — спросил меня Франсуа.

— Знаю. Это очень милый молодой человек с мягким характером.

— En effet? — сказала Елена Владимировна, которая казалась погруженной в разговор с Алексеем Андреевичем.

— Если хотите, я его вам представлю.

И Борис Аркадьевич попал таким образом в этот круг людей — и в то ограниченное ночное пространство, в котором были глаза Елены Владимировны и голос Великого музыканта и мелодический шум незримого оркестра; и на краю моих представлений об этом смуглом лице застрелившегося сутенера и липкие и отвратительные лица нищих с Севастопольского бульвара.

Борис Аркадьевич быстро узнал все отношения, связывавшие между собой этот круг людей; он сразу возненавидел Ромуальда, он был недоброжелателен к Франсуа, которого обидел тем, что сказал, что не читает новых писателей, а французов в особенности; и, встретясь глазами с Еленой Владимировной, он особенно пристально потом смотрел на какой-ни-

будь незначительный предмет, находившийся перед ним — точно изучал его. Он был необычайно скрытен; и только случайно я узнал, что нередко Борис Аркадьевич шел по пятам за Еленой Владимировной и Франсуа — и сопровождал их всюду, без того, чтобы подходить к ним. Я имел возможность убедиться в этом три раза. Я знал, что Франсуа играет на скачках и ездит в Longchamps и Auteuil вместе с Еленой Владимировной; и однажды, за разговором Сверлов мимоходом сказал, что не так давно, на скаковом поле в Сент-Клод он встретил знакомого, которого считал умершим.

— Вы любите скачки, Борис Аркадьевич?

— Терпеть не могу, — сказал Сверлов.

— Ваш друг, кажется, очень любит развлечения, — заметила мне Елена Владимировна.

— Кто же их не любит? Все любят.

— Вы меня не понимаете. Он всегда на Монмартре. Я там была четыре раза за последние две недели — и каждый раз встречала его.

— Да, он, кажется, любит Монмартр, — сказал я.

Как-то вечером, решив отправиться в кинематограф и не найдя нигде подходящей программы, я пошел от скуки посмотреть revue "Oh, oh, dansons a Paris!" в маленьком театре Монпарнаса, — где было шесть girls, одна певица с недовольным лицом и три актера, из которых самый высокий был директором труппы, владельцем театра, режиссером, автором и премьером; оркестр был ужасный, декорации тоже — публика была в кепках, а на сцене говорили и пели вещи, рассчитанные на невзыскательную парижскую публику окраин и небогатых кварталов. Я невольно вспомнил Россию, лето, провинциальные города и фарсы, разыгрывавшиеся в местных театрах — впрочем, там все это было лучше. — Средний французский актер может сравниться по своему душевному убожеству только с негром, самоедом или зулусом — с той разницей, что те все же естественнее, — сказал как-то Борис Аркадьевич. — А в "Комеди Франсез" вы не были? — продолжал он. — Я попал туда однажды на длиннейшую трагедию Корнеля, которая сама по себе чрезвычайно дурна — и это еще усугублялось вовсе невероятной игрой актеров; они делали однообразные движения, вытягивая и отдергивая руки, стонали на сцене и говорили с такими интонациями, которые по их наивному мнению должны были сделать их речь похожей на речь римлян, но которые мне лично показались бы наиболее характерными в устах идиота или сумасшедшего. Резкость суждения Бориса Аркадьевича, всегда несколько задевавшая меня, на этот раз показалась мне оправдываемой.

Итак, я пришел в этот маленький театр, сел на свое место и вдруг увидел Елену Владимировну и Франсуа, смеявшегося беспрестанно — я слышал, как он сказал: "Non, mais c'est fantastique" — и недалеко от них — Бориса Аркадьевича. Борис Аркадьевич был в смокинге, производившем необыкновенно странное впечатление: его соседи сидели в расстегнутых рубашках и в ночных туфлях; он, и Елена Владимировна, и Франсуа все время видели на себе равнодушно-любопытные взгляды публики — а певица, исполняя какой-то романс, протянула руки со сцены по направлению к Борису Аркадьевичу и прямо взглянула на него, отчего его лицо сразу же задергалось; и он отвернулся, посмотрев предварительно наверх с безнадежным видом — как он это делал всегда, если в его присутствии говорили глупость или совершали поступок, который он считал неправильным. Я вышел из театра за минуту до конца спектакля; и, закуривая на улице папиросу, видел, как вслед за Еленой Владимировной и Франсуа двинулся Борис Аркадьевич.

вич — и все они свернули в маленькую улицу — по пути к квартире Франсуа.

Я пришел в кафе: оркестр играл механическую свою жалобу, рассекавшую воздух, как минорные, звучные ракеты, полет которых внезапно прекращался, чтобы возвратиться туда, откуда он выходил, и снова быть брошенным в воздух, прозвучать, преодолевая сопротивление металлической среды и опять сразу умолкнуть; но за умолкшими его ракетами все шли другие и все дрожало и звенело, то превращаясь опять в неподвижную прозрачную массу, то снова насыщаясь этими музыкальными и лирическими полетами. В этом было печальное исступление, которое мне казалось опасным, как сумасшествие или смерть — и от которого все же я не мог бы отказаться, как от разрушительного и сладостного наркоза. Это было то состояние, которое так безошибочно можно было отличить от всех других и которое Алексей Андреевич называл "состоянием последних мыслей". — "Все известно, — думал я, — все неверно и обманчиво; то, что я знаю — ничтожно и печально — и почему бы я стал предполагать, что в остальном, чего я не знаю, и, наверное, не буду знать, есть еще какие-то возможности?"

— Есть искусство, — насмешливо говорил Шувалов. — Но вот мы проходим искусство, оно ведь только приближение к чему-то — и что потом?

— А потом — "самая красивая девушка не может дать больше того, что она имеет" — как говорит Великий музыкант.

Я тоже часто слышал от Ромуальда эту фразу.

— Эту мысль невозможно вынести, — говорил Борис Аркадьевич. — Поймите одно: вот вы видите блистательную красавицу с нежным лицом и хрустальными глазами. —

— Заметно, что вы не читаете новых авторов, — сказал Алексей Андреевич, — а то бы вы знали, что так говорить нельзя.

— И вы знаете, — продолжал, не слушая его Сверлов, — что она так же принадлежит мужчине, как все остальные — у нее те же движения, то же прерывистое дыхание и те же туманные глаза, что у других. *Elle est comme toutes les autres.* — И Борис Аркадьевич закрыл лицо руками.

— А вы сентиментальны, — сказал Шувалов. — Я хочу вас утешить: мсье Энжелю еще хуже, чем вам.

— Это неверно.

— Верно. Вы все-таки погибаете с некоторым великолепием, в вас есть что-то карфагенское. А мсье Энжель лишен этих декоративных утешений; он прост, как дверь, и непосредственен — и у него ничего не осталось.

Конец мсье Энжеля был действительно нехорош. Все было плохо, прежде всего потому, что мсье Энжель искренне не понимал, почему все так изменили к нему свое отношение. Он не совершил ни одного поступка, который чем-нибудь был бы непохож на все, что он делал всегда; и сам он не изменился. Он оставался таким же оратором, он по-прежнему говорил, что только труд и созидание могут обеспечить государству экономическую будущность; но его слова, вызывавшие раньше энтузиазм, теперь потеряли вдруг всякую убедительность. Всю жизнь мсье Энжель подписывал какие-то векселя и бумаги и этим заведывал его секретарь — и никогда ничего плохого не получалось. Всю жизнь он составлял проекты реформ местного значения, которые были не хуже и не лучше других; всю жизнь он говорил женщинам — *ma petite vous etes charmante comme tout* — и ему не приходила мысль, что это можно еще сказать иначе — он просто не понял, когда Елена Владимировна ответила ему — вы просто скучны. Он долго

повторял эту фразу: "вы просто скучны!" — Но чего же она хочет? — с недоумением думал мсье Энжель.

Потом он начал сердиться: эти люди просто перестали понимать самые обыкновенные вещи. Но опять-таки — они не могли же сговориться?

Он потерял аппетит, он похудел. Он стал неряшлив и небрежен: вдруг сказался его возраст. Встретя его в кафе, я вспомнил, как видел одного знакомого русского писателя — сначала на литературном вечере, в электрическом освещении; у него было надменное и почти молодое лицо, он был в бархатной шляпе и плаще и был по-своему очень хорош. Второй раз я столкнулся с ним утром, в книжном магазине, куда он пришел по делам: под глазами его были мешки, на щеках серебристая щетина; он постарел на тридцать лет — и когда он уходил, я обратил внимание на его осторожную старческую походку. — *Il est fini* — сказала моя спутница.

Если бы мсье Энжель мог понять, что с ним произошло и мог бы задуматься над этим, то для него началась бы новая жизнь. Но он был "прост, как дверь" — и все считал, что это временно, что это недоразумение — и все еще в редких своих разговорах повторял то, что говорил раньше. Я видел его еще раз, через год после его падения; это был неряшливый старик с сердитым лицом; он был в потертом костюме и стоптанных башмаках. Я поклонился ему, он узнал меня, какая-то тень пробежала по его лицу и он отвернулся. Но мне даже не стало его жаль; он был уже так далек от меня и так мне чужд, как почти все люди, с которыми я был близок в моей жизни и которые потом переставали существовать для меня, как будто бы они умерли — хотя они были живы и даже несколько не изменились. Но я путешествовал, они же оставались на своих местах; я успевал в период разлуки погрузиться словно бы в напряженный сон и увидеть вещи бесконечно измененными — и проснуться, став уже старше на какое-то пространство времени и расстояния — а их я видел все там же, и только иногда и чрезвычайно редко мне удавалось проследить в их глазах что-то похожее на невыносимое страдание от неподвижности, которое есть у деревьев, жаждущих движения, как человек — бессмертия.

Алексей Андреевич давно говорил мне, что я недооцениваю таланты Великого музыканта; он так настойчиво это повторял, что я стал искать в его словах тот скрытый смысл, о котором он не хотел прямо говорить. Единственное, что я мог предположить, это что Елена Владимировна может стать очередной жертвой Ромуальда. Но это казалось мне невозможным. Конечно, Великий музыкант был в некотором смысле почти неотразим, но все же он был "альфонс", и уже по одному этому был, казалось, заранее осужден. Как я ни старался, я не мог подавить в себе невольного презрения к нему, это было даже не презрение, а нечто почти похожее на физическое отвращение. Кроме того, для Елены Владимировны, привыкшей к обществу Франсуа, который, в конце концов, был несомненно и умен и даже, в сущности, талантлив — Ромуальд должен казаться человеком низшего порядка. Я не знал, что одно движение Великого музыканта — когда Елена Владимировна почувствовала на своей коже — она была в открытом платье, Ромуальд шел рядом с ней — его мягкие и сильные пальцы — одно это движение будет значить для нее больше, чем блистательное и бесплодное красноречие Франсуа с его "Джюкондой" и множеством умных и верно понятых вещей. Но как только я понял, что это возможно, я знал уже, что произойдет катастрофа — и я видел перед собой то выражение глаз Бориса Аркадьевича, которое заставило Елену Владимировну

...иногда Тереза — посмотрите Франсуа какие страшные тигры.

То, о чем не хотел говорить Шувалов — и что мне казалось только неверным предположением — то, в результате чего Алексей Андреевич сказал Франсуа: *roug Jolik!* — совершенно так же, как Франсуа в свое время сказал мсье Энжелю — *mon pauvre ami* — то есть уход Елены Владимировны к Великому музыканту — произошло в вечер концерта Шалапина, на котором были мы все — но сидели в разных местах. Мы с Шуваловым были на балконе. Было множество народа и громадный зал Плейель был полон разными людьми — начиная от первых рядов партера, где сидели мужчины в смокингах и фраках и дамы в вечерних туалетах — до последних рядов верхнего яруса, заполненных русскими фабричными рабочими — в однопольных синих костюмах — рабочими с покрасневшими от крахмальных воротничков шеями и разбухшими пальцами. Рядом со мной сидел Лабик, самый знаменитый и модный из молодых французских композиторов. Он был одет в смокинг и белый жилет; и на его пухлом желтоватом лице было то презрительное выражение, делавшее его похожим на старого неудачника-актера, которое я знал давно и которое не покидало Лабика почти никогда; он сам считал, что оно делает его интересным, и такое заблуждение его вовсе не казалось мне удивительным, так как, будучи действительно талантливым композитором и чувствительным к музыке человеком, — в остальном Лабик был ограничен, и круг его эстетических понятий, выходявших из области музыки, отличался некоторой узостью. И, может быть, отчасти сознавая это — так как музыкально-душевные его способности иногда на короткое время могли превратиться в иные качества, необходимые для обычного интуитивного понимания — он был "снобом" и даже педерастом, но не по физиологической потребности, а все из того же снобизма, несколько наивно им воспринятого. Была в нем еще одна черта, характерная для его ограниченности: он считал, что в мире царит латинский гений — и независимо от того, в какой степени это было правильно или неправильно — это его мнение всегда вызывало чувство неловкости у окружающих: Лабик был француз, и как француз должен был высказывать другие взгляды — что было бы приличнее. Но Лабик этого не понимал.

Он сидел, откинувшись в своем кресле и подняв брови "усталым движением", как написал о нем один поэт, которого Лабик очень ценил, и Лабика особенно нравилось именно это выражение "усталое движение" поднятых бровей — осматривал своих соседей и, встретившись глазами с Шуваловым, наклонился вежливо и медленно, и создалось такое впечатление, что он бережно относится к каждому своему жесту, будь это поклон, или доставание папиросы из золотого портсигара или что-нибудь еще. Рядом с ним находилась одна из его поклонниц, которой чрезвычайно льстило его соседство и которая поэтому нарочито громко и нарочито небрежно произносила все время — *mais oui, mon cher ami, mais oui, mon cher ami* и нарочно не смотрела по сторонам, хотя знала, что на нее все оглядываются; но "*mon cher ami*" она не переставала повторять и однажды это сказала после паузы, когда Лабик решительно ничего ей не говорил и ни с каким вопросом к ней не обращался; она сказала это по инерции, не будучи в силах отказать себе в удовольствии еще раз таким образом подчеркнуть свою близость с Лабиком.

— Заметили ли вы, насколько она непосредственна? — спросил меня Шувалов, не поворачивая головы.

— Да, очень проста, — сказал я.

Между тем, внизу, на эстраде, уже заиграл пианист; он

встал и начал играть, его слушали из вежливости и даже из любопытства. Но вот он кончил и на эстраду широкими шагами вышел Шалапин — тотчас же раздались аплодисменты, доказавшие себе особенно ошущительными после тех, которыми зал только что выразил аккомпаниатора. Шалапин остановился у рояля: на его лице было несколько задумчивое выражение; потом он стал напевать что-то про себя и слегка размахивать пальцами в такт тому, что он напевал; в зале стояла необыкновенная тишина, и тысячи людей с напряженным вниманием следили за каждым движением громадного человека на эстраде, погрузившегося в свою собственную музыкальную задумчивость, значение которой было так очевидно для всех, что никому в голову не могла придти мысль ни о том, какой уверенностью должен обладать певец, чтобы так вести себя перед самой лучшей аудиторией мира, ни о том, что этого не позволил бы себе никто, кроме Шалапина. Он сказал что-то аккомпаниатору, подошел ближе к рампе и сказал по-французски с русским акцентом:

— *Numero cent quarante trois.*

Тишина стала еще более ошущительной — и в ней тихо прозвучали первые ноты аккомпанимента, как первые капли дождя, упавшие на неподвижную поверхность воды — и тотчас вслед за ними раздался голос Шалапина. Несколько человек привстало со своих мест, не замечая этого. Как только Шалапин начал петь, смутный страх и ожидание, томившие меня, исчезли: он пел именно так, как это было невозможно, и ни на минуту его единственный в мире голос не сходил с высот недоступности — и мне сразу же стало ясно, что до этого момента самые прекрасные тайны на земле были мне неизвестны и недоступны; я видел и слышал их сейчас, и они казались тем более иступленно невозможными, что Шалапин должен был кончить концерт и после этого уже ничто не могло вновь вернуть мне способность этого созерцания и этого состояния души, которая вдруг потеряла все, что ей раньше принадлежало; и опустевшие пространства воспоминания и мысли наполнились необычными звуками, отделявшимися от высокой черной фигуры на эстраде. После "Пророка" Шалапин пел "Двух гренадеров", и в голосе его, создавшем такой музыкальный мир, о котором, может быть, композитор и не мог, и не смел мечтать, слышались другие голоса и вещи, проходившие вне музыки. Рядом с собой я слышал, точно сквозь туман — странный шум, на который не обратил внимания. Но после того, как Шалапин пропел:

...И встанет к тебе Император...,

я сразу наполнив зал словно медленным звуковым океаном — я обернулся и увидел, что Лабик плакал, держа в руке у лица шелковый платок, фыркая и всхлипывая и забывая выгирать слезы; и презрительное выражение его лица сменилось выражением бессилия и умиленности, которые странно меняли его. И в глазах Алексея Андреевича я — в первый раз за все время — уловил переливавшуюся в них и исчезающую тень сожаления; это было так непривычно и странно, что я не мог себе этого объяснить. Такое бессилие воображения было мне знакомо: оно бывало, главным образом, тогда, когда я следил за движением мысли на лице моего собеседника — потом видел неожиданное выражение, останавливавшееся на нем — и не мог уже идти дальше: должно ли было это объяснить тем, что мысль моего собеседника, постепенно сгущавшаяся и перебивавшаяся сначала легкими и тонкими, потом все более плотными ошущениями, наконец совершенно поглощалась

чувством, иррациональная природа которого оставалась мне недоступной — этого я не знал. Но лицо Шувалова было настолько неподвижно, что невольно напоминало маску. ”В конце концов, это понятно, — думал я. — Чем культурнее человек, тем он неподвижнее, тем глубже и вернее он знает, что чувства его все равно не могут найти внешнего выражения; и он поэтому присужден к той известной немоте лица и рук, какой отличается Алексей Андреевич”.

Он медленно поднялся со своего места, за ним встал я. Концерт уже кончился, но публика еще не расходилась, хлопала и кричала. Мы вышли из здания Плейель: автомобили загромождали улицу — все двигалось в струящемся от сильного ветра свете фонарей: автомобиль, в котором мы ехали, с трудом выбрался из улицы Faubourg St.-Honore.

Мы первыми приехали в кафе; вслед за нами явился Сверлов — но ни Великого музыканта, ни Франсуа, ни Елены Владимировны не было.

— Странно, что их нет, — сказал Сверлов. Никто ему не ответил. Прошло несколько минут; в них уже появилась смутная тревога. Она была почти неуловима, она, может быть, была ошибочна, как неверное предчувствие, но она все-таки существовала.

— Странно, что их нет, — повторил Борис Аркадьевич.

— Мне это не кажется странным, — ответил Шувалов.

— Почему?

— Потому, — сказал Шувалов нарочито, как мне показалось, рассеянным голосом, — что сегодня утром Елена Владимировна окончательно покинула Франсуа Терье и ушла к Ромуальдо Карелли, Великому музыканту.

— А, — как будто издали сказал Сверлов.

Мне кажется, именно в этот вечер после концерта Шаляпина я с особенной силой понял и почувствовал, что отныне все эти люди — Елена Владимировна, Франсуа, Ромуальд, Алексей Андреевич и Сверлов — связаны между собой такой тесной связью, судьба их так сплетена, что разрешить это могла бы только катастрофа. Я не мог представить себе, какой внешний вид примут дальнейшие события и что именно произойдет: но неизбежность важного и трагического случая была несомненной, хотя никаких неопровержимых оснований для этого как будто бы и не было. Так бывало иногда в двойном сне: мне снилось, например, что я попадаю в руки разбойников и человек со знакомым мне железным лицом приказывает меня убить. Тотчас же я думаю: но все это неправда, все это во сне — и человек с железным лицом, отвечая на мою мысль, говорит: ”нет, ты видишь, это продолжается, значит, это не сон; шутить здесь не приходится”. И я просыпался во второй раз. Так было и тогда: я слушал речь Шувалова и видел лицо Бориса Аркадьевича и говорил себе: нет, этого не может быть; вот, мы мирно сидим на бульваре Монпарнас и пьем кофе, и все мы, в сущности, неплохие люди; и зачем предполагать такие мрачные вещи? Но чувство, бывшее во мне, оказалось сильнее этих рассуждений; на музыкальных волнах незримого оркестра вдруг появилась курчавая голова алжирца-сутенера, застрелившегося несколько месяцев тому назад — как голова Иоанна на блюде Саломей; только музыка могла создать во мне такой искусственный образ, — музыка или звуковое воспоминание о голосе Великого музыканта; и все это точно подтверждало мое предчувствие и не давало ему успокоиться. Это продолжалось до тех пор, пока я не уловил вдруг знакомый мне мотив — которого я долго ждал, так как при первых его звуках я успокоился, как бы вернувшись от неведомых и опасных ощущений, — к любимой своей мысли — о море и

больших расстояний. ”Хорошо, — думал я, — даже если все это произойдет, то пусть будет так: все уйдет, исчезнет, изменится — но я останусь опять — с морем и музыкой и таким большим, холодным и снежным пространством, при мысли о котором у меня захватывает дух”.

Это была успокоительная мысль, появлявшаяся всякий раз, когда слишком напряженное чувство требовало отдыха — так бывало во всех трудных обстоятельствах и после чьей-нибудь смерти, например; и казалось странно, что такая почти бессодержательная мысль могла меня отвлекать и заполнять мое воображение на многие часы. Я помню, как умер один из самых близких мне людей — и я не знал, о чем мне думать и где найти во всем громадном количестве, во всей вселенной вещей, которые я мог себе представить — хоть одно небольшое место, куда не достигла бы мысль об этой смерти; и тогда я впервые стал думать о море, музыке и расстоянии — и это успокоило меня; раньше же я искал утешения в вещах личных и близких мне и потому непосредственно отразивших в себе мое чувство — а нужно было думать о больших и чуждых лично мне, о почти отвлеченных понятиях. Потом я неоднократно вспоминал об этом; и в силу привычки теперь эта мысль появлялась во мне, всплывая из глубины воспоминания и успокаивая меня.

На следующий день я должен был уехать из Парижа; я получил телеграмму, вызывавшую меня за границу по очень важному делу.

Я вернулся в Париж глубокой зимой, в феврале месяце. Вечером в кафе, — как этого и следовало ожидать — я встретил Шувалова, который рассказал мне, что события приняли чрезвычайно плохой оборот.

— Почему? — спросил я.

— Я не говорю о Франсуа, который медленно и верно спивается, — сказал Алексей Андреевич. — Вы помните его слова об Елене Владимировне: *”elle a traverse mon existence, je suis coupe en deux et au fond je suis fini”*. Итак, мы не говорим о Франсуа, который, между прочим, написал новую книгу ”Казанова в Элладе”. Но вот Елена Владимировна имеет все основания быть недовольной своей судьбой.

— Великий музыкант ее не любит?

— Любит или не любит, это другой вопрос. Но он ее бьет.

— Что? — сказал я, не поверив своим ушам.

Вместе с тем, это была совершенная правда. Ромуальд Карелли должен был изменить свой образ жизни, должен был отказаться от автомобиля и известной роскоши и жить только на скромные деньги, которые Елена Владимировна с трудом зарабатывала уроками, переводами и даже шитьем. Иногда ей помогал Франсуа. Великий музыкант не умел и не хотел работать. Будучи деспотическим по натуре и, в сущности, чрезвычайно примитивным человеком — с характерной для сутенера психологией, он не мог вести себя иначе; и неудовольствие оттого, что у него мало денег, он выражал тем, что бил Елену Владимировну. Она приходила в кафе изредка, в старом платье и смешном и немодном манто — чтобы попросить немного денег у Франсуа; глаза у нее были покрасневшие, лицо напухшее, — может быть, от болезни, может быть, от ударов.

— Как? Елена Владимировна? Гордая красавица?

— Гордая красавица, — спокойно подтвердил Шувалов.

— Это непостижимо. Почему же она его не бросит?

— Я не хотел бы прибегать к точным определениям. Я думаю, не хочет и не может.

— Надо на нее воздействовать.

— Думаю, что это бесполезно.

— Но это не может так продолжаться.

— Да, Борис Аркадьевич тоже так думает. Сегодня вечером у него, кажется, будет объяснение с Великим музыкантом. Если хотите, пойдемте со мной. Наверное, Борис Аркадьевич уже будет там.

— Да, конечно.

Мы вышли из кафе в половине первого ночи — и направились к квартире Елены Владимировны, у подъезда которой должна была произойти встреча Великого музыканта с Борисом Аркадьевичем. Вернее, Борис Аркадьевич решил стоять у дверей дома и ждать возвращения Великого музыканта — тот приходил домой к часу ночи, примерно — с тем, чтобы указать ему, как это формулировал Шувалов, на совершенно очевидную некорректность его поведения по отношению к Елене Владимировне.

— Сомнительно, чтобы он два часа ждал на морозе исключительно для удовольствия произнести эту вежливую фразу, — не удержавшись, сказал я.

— Возможно, что он выберет другое эквивалентное выражение, — ответил Шувалов, особенно подчеркивая слово "эквивалентное".

В этот час на улицах было пустынно; только где-то далеко завизжали за углом тормоза автомобиля и все снова стихло. Было очень холодно, я поднял воротник своей шубы.

— Нам далеко? — спросил я Шувалова.

— Нет, не очень, — ответил он. И мы продолжали идти.

Если бы все это происходило в иных обстоятельствах, я бы, наверное, заговорил бы о чем-нибудь с Алексеем Андреевичем. Но в те минуты смертельная тоска так владела мной, что я не мог сказать ни одного слова, мне казалось, что оно прозвучало бы лишне и ненужно, — точно бы с другой стороны уже свершившегося события — и что его не следовало производить. Я только хотел, чтобы все кончилось как можно скорее. Но мы шли минут десять, а мне они показались целым часом. Наконец, Шувалов остановился. Я увидел перед собой узкую улицу, освещенную одним фонарем и соединявшую рю де Вожирар, где мы стояли, с площадью Сен-Сюльпис. Почти тотчас же, шагах в пятидесяти от нас я увидел широкую фигуру Бориса Аркадьевича. Он стоял в своем туго застегнутом пальто, в мягкой шляпе, с квадратной тростью в руке.

Впоследствии, вспоминая все, я думал, что в тот момент Сверлов действительно был похож на "джеттаторе" — этот неподвижный, немой силуэт в неверном зеленоватом свете фонаря, на углу пустынной и узкой зимней улицы. Но тогда я об этом не думал.

Мы простояли в молчании добрых полчаса; Борис Аркадьевич за это время не шевельнулся. Наконец, послышался смешанный шум женских и мужских шагов и чей-то низкий голос — это не был голос Великого музыканта — и мы ясно увидели Ромуальда с Еленой Владимировной, поднимавшихся по улице прямо к тому месту, где стоял Борис Аркадьевич. Я хотел сделать какое-то движение и что-то сказать, но не мог — и только покачался на месте. Шувалов посмотрел на меня, приподняв брови.

Все случившееся после этого произошло с удивительной медленностью. Я слышал только обрывки фраз. Я слышал, как Сверлов сказал: "Это не может и не будет..."

Потом между ним и Ромуальдом стала фигура Елены Владимировны. Ромуальд сильно ударил ее по лицу, — звонкий звук долетел до нас — оттолкнул ее, — у меня потемнело в глазах, мне стало трудно дышать, но Шувалов крепко сжал

мне руку; Елена Владимировна пошатнулась и ее падение задержал столб, к которому она прислонилась. По тому, как голова ее склонилась набок, было видно, что она близка к потере сознания. Голос Великого музыканта что-то говорил: дикие, необычные звуки его показались мне невнятными и угрожающими. Теперь я видел только неподвижную широкую спину Сверлова; наверное, Ромуальд согнулся и приблизил к нему свое лицо. Голос его то повышался, то опускался. Сверлов раз или два ответил словами, которых я не разобрал.

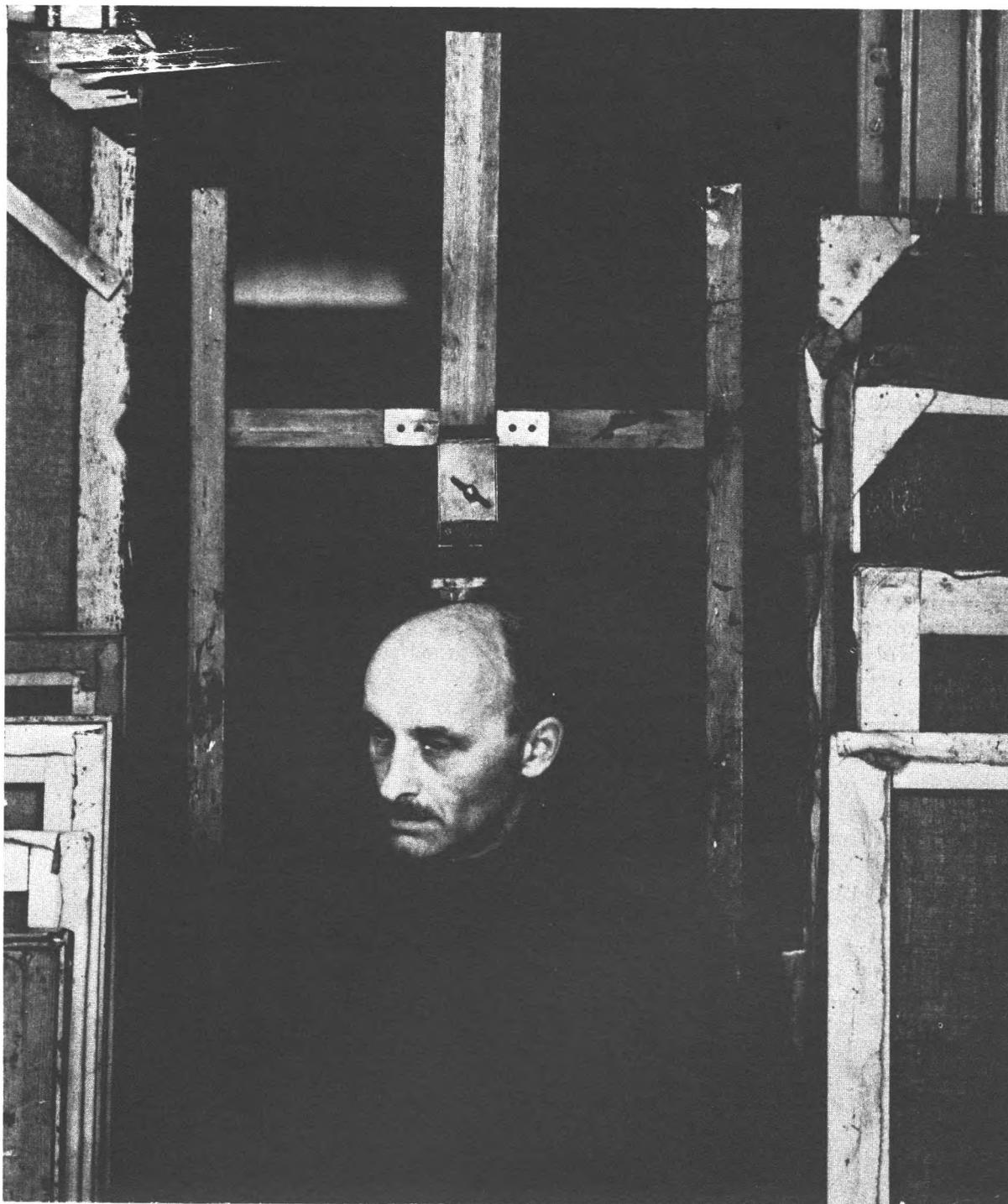
— Тебя и эту .... — вдруг явственно и с необыкновенной злобой крикнул Ромуальд. Сверлов сразу отступил назад, — в первую секунду я с изумлением подумал, что он испугался и решил, что схожу с ума — и сейчас же после этого раздался сухой всхлипывающий звук и Борис Аркадьевич повернулся лицом к нам. Через минуту мы все стояли у того места, где упал Великий музыкант. Он лежал головой к чугунной трубе: и беззащитная, ужасная неподвижность его тела и белый воротничок с черным в крапинках галстуком, съехавшие на сторону и обнажившие в одном месте его тонкую шею, сразу бросились мне в глаза. Нос его был сломан, кровь заливала лицо, изуродованное нечеловечески сильным ударом Сверлова. Было ясно, что Великий музыкант мертв. Как выяснилось впоследствии, смерть последовала мгновенно оттого, что, падая, он ударился затылком о чугунную трубу; и размах его длинного тела был так силен, что теменная кость сразу треснула. Вдруг пошел маленький дождь, как это часто бывает зимой в Париже. Я посмотрел на часы: было без десяти минут два.

**Читайте  
в следующем  
номере  
«Стрельца»**

ПРОЗА: АНАТОЛИЙ ВЕРШХОВСКИЙ, ЮРИЙ ГАЛЬПЕРИН, АЛЕКСЕЙ РЕМИЗОВ, ДМИТРИЙ САВИЦКИЙ  
ПОЭЗИЯ: ЛЕВ ДРУСКИН, БОРИС КУПРИЯНОВ  
ИНТЕРВЬЮ С АНДРЕЕМ ТАРКОВСКИМ  
ВОСПОМИНАНИЯ ОСКАРА РАБИНА  
СТАТЬЮ О ТВОРЧЕСТВЕ ЮРИЯ КУБЛАНОВСКОГО  
ОБЗОРЫ ВЫСТАВОК, РЕЦЕНЗИИ НА КНИГИ И ЖУРНАЛЫ

оскар  
рабин

# ТРИ ЖИЗНИ



9. Десятник

Оформить брак официально мы с Валею не могли, однако в наших отношениях это не играло особой роли. Женившись, я тут же стал искать работу. Я готов был делать, что угодно. Однако моя интеллигентская внешность, очки и застенчивость настораживали начальников отделов кадров.

В конце концов, каким-то чудом мне удалось устроиться десятником на строительство Северной водопроводной станции. Эта стройка зависела от МВД, начальство состояло из военных, и анкета каждого сотрудника должна была быть безупречной. Начальник отдела кадров знал, что я занимаюсь живописью. Принимая меня в своем кабинете, он сказал, что ему необходимо отреставрировать несколько картин, к тому же он давно ищет художника, который бы нарисовал портрет

его дочери. Мы обо всем договорились, и я стал заполнять бесчисленное количество анкет. Добросовестно отметив все пункты, однако, тот факт, что брат моей жены — политзаключенный, благообразно опустил.

Мы продолжали ютиться у Кропивницких. На лето, правда, перекочевали в построенный собственноручно сарай, но это никак не решало проблемы с жильем. Наступила осень, и, проснувшись однажды в нашем сарае, мы увидели, что подушки покрыты инеем. Надо было срочно переезжать, но куда? Особым преимуществом моей службы являлось то, что она давала право на получение жилплощади в ведомственном доме. Да только ведь одно дело — право и совсем другое — действительность. Жилплощади в нашем ведомстве ждали годами. И тут мне снова повезло. Дело в том, что находившийся в Лианозове (четыре километра от моей работы) лагерь куда-то перевели, а бараки, в которых жили заключенные, предоставили гражданским. Благодаря все тому же начальнику отдела кадров — любителю живописи, мы получили в этом бараке комнату, причем не такую, как у всех, с общим коридором и одной уборной и кухней, а находившуюся в отдельной квартирке. И соседей у нас было не пять и не десять, а всего одна женщина-врач, которая переехала к себе не сразу, а лишь через несколько месяцев, так что мы какое-то время были обладателями отдельной квартиры.

Девятнадцатиметровая вытянутая в длину комната с единственным окном по торцовой стене казалась неприлично огромной. Как раз посредине, соединяя пол с потолком, стоял толстый столб, к которому раньше крепились нары. Нам он только мешал, однако, убирать его мы не хотели, боясь, что может обрушиться потолок. Был у нашего жилища еще один, и очень серьезный недостаток — сырость. Построенный без фундамента, прямо на земле, барак был настолько сырым, что стоявшая на полу обувь через несколько дней покрывалась плесенью. Но на такие мелочи мы не обращали внимания. Впервые в жизни у нас была с о б с т в е н н а я комната, и мы были счастливы.

Вначале, кроме матраса, двух стульев, столика, подаренного Евгением Леонидовичем и Ольгой Ананьевной, и зеркала в медной оправе у нас ничего не было. Постепенно я сам сколотил обеденный стол, несколько табуреток и полочек. На долгое время проблема с жильем для нас была благополучно решена. Лев, который к тому времени вернулся из ссылки, жил гораздо хуже нас. Его жене, работавшей бухгалтером на нашем строительстве, выделили комнату в бараке на сорок семей с одной кухней, уборная находилась на улице. Привыкший ко всему Лев не унывал и, посмеиваясь, говорил, что это еще не самое плохое в жизни, а готовить они предпочитают на керосинке в комнате, так что снимается проблема кухонных ссор. Он зарабатывал иллюстрациями, бегал из издательства в издательство, выколачивал заказы.

Лев увлекался всем западным в то время и, несмотря на то, что сведения об искусстве Запада были очень скудные, он восторженно принял идею абстрактной живописи. Он разыскивал репродукции с картин Мондриана, Клее, Миро, Дали и других и, не имея возможности их купить, — цены на черном рынке на такие вещи были большие — фотографировал их. Посмотреть фотографии, посидеть, поспорить к нему приезжало множество народу. Сам он писал большие абстрактные полотна, вызывавшие среди нас отчаянные споры.

Внешне Лев выглядел тогда презабавно. Где-то купил пальто в клетку и с широченными плечами, короткие узкие брючки и ярко-желтые туфли на толстой подошве. При неболь-

шом росте и коренастой фигуре такая одежда ему совсем не шла, но он носил ее, как бы бросая вызов развернувшейся вовсю кампании против стилига. Она длилась долго и кончилась тем, что узкие брючки и яркие галстуки постепенно вошли в моду.

Приблизительно через полгода строительство водопроводной станции закончилось, и меня перебросили в отдел железнодорожного транспорта того же ведомства МВД. Мой ангел-хранитель, начальник отдела кадров и тут мне помог. Теперь я сутки работал и двое суток отдыхал. Таким образом освобождалось время для живописи. Я рисовал все, что видел вокруг — приземистые бараки, повисшие над крышей провода, отраженный в луже свет тусклой лампочки и роющихся на помойке котов. Эти картины я никому, кроме друзей, не показывал, и жизнь до поры, до времени текла тихо и спокойно.

Работа моя была довольно тяжелой. Под моим началом работало сорок заключенных, посылаемых из лагеря на погрузку и выгрузку стройматериалов. Посылали их в любое время суток и при любых условиях — если надо, работали ночью, работали под проливным дождем и при сорока градусах мороза. Главной заботой начальства было довести до минимума простой вагонов, ибо при нарушении сроков платились штрафы, горел план и снижалась зарплата. И за все это отвечал десятник.

Пока разгружали кирпич или щебень, все шло более или менее нормально. Но как только приходилось разгружать негашеную известь или цемент россыпью, срок тут же летел ко всем чертям. Для работы с известью грузчикам по правилам безопасности полагаются респираторы. Но так как на стекла очков тут же садится плотная пыль, то мои грузчики предпочитали закрывать рот и нос простым носовым платком. Эту проклятую известь нельзя бросать лопатами, ее можно перевозить только на тачках. Вот и получалось, что обычный четырехосный вагон выгружали за несколько часов, а вагон с негашенкой — за двое суток.

Как обычно, планы выполнялись и даже перевыполнялись... на бумаге. Сочинялись дутые цифры, приводились фальшивые отчеты. Такой порядок не нами был придуман. Так поступают все. И в нашей организации в результате была вечная нехватка, строительство не вылезало из дефицита, и банкет и дело отказывался платить. Зарплата задерживалась, подымался скандал, и время от времени кого-то из начальства снимали с работы.

Моя работа начиналась в восемь утра. Я вставал в полседьмого, завтракал и шел пешком на работу вдоль железнодорожного полотна. Иногда, если мимо шел состав, махал рукой машинисту, чтобы притормозил. Выгрузка вагонов шла безостановочно, и нужно было прийти вовремя, чтобы сменить напарника. Мы никогда не знали заранее ни числа прибываемых вагонов, ни какой в них находится груз. Объявляли только время прибытия состава. Узнав час, я немедленно звонил в лагерь, чтобы присылали "аварийную" бригаду. Так они у нас назывались. Доставал ломы, кирки и лопаты.

Хуже всего, когда приходилось звонить в лагерь ночью. Сколько раз, бывало, надзиратель, которому не хотелось выходить из теплой вахты и ругаться с сонными зеками, отвечал по телефону: "Тебе они, десятник, нужны, ты их и буди!" И приходилось идти в лагерь самому три километра пешком, в темноте, иногда в лютый мороз. Предупрежденный часовой пропускал в зону, я заходил в барак, где при свете постоянно горевшей лампочки спала сотня заключенных — три сменных бригады. Я будил бригадира и объяснял, что прибыли вагоны

под разгрузку. Начинался торг. Чаще всего спорили о том, что еще лишнего можно будет приписать в нарядах, так как только благодаря этому заключенным начислялась зарплата. И еще то, что при перевыполнении плана были зачеты, и лагерный срок, хоть и ненамного, но сокращался.

Наряды выписывал десятник, и заключенным представлялось, что от меня очень многое зависит. На самом деле от меня не зависело почти ничего. Бухгалтер следил за моими бумагами и, зная про подтасовку цифр, постоянно их уменьшал. Это была система взаимного обмана, а десятник становился, по сути дела, буфером между начальством и заключенными. Он должен был вести себя очень умело — не раздражать вышестоящих и не вызывать злобу заключенных.

Найдя, наконец, компромиссное решение, мы с бригадиром принимались будить заключенных. Это было достаточно неприятное занятие. Со всех сторон неслись мат, вопли и проклятья. Иногда вдруг кому-то удавалось выключить свет, и в темноте раздавалось хриплое: "А ну-ка, ребятки, давайте зарежем десятника!" Свет зажигался. На меня смотрели сотни любопытных глаз, каждый пытался поймать страх на моем лице.

Однажды я решил, что с меня хватит безропотно глотать оскорбления, и что я должен ответить грузчикам той же монетой. Выслушав привычную брань, я разразился потоком самого отборного мата. Ответом было молчание. Наконец, чей-то голос тихонько сказал: "Не надо, десятник. Не для тебя это... Материться ты не умеешь и никогда не научишься... Да и ни к чему тебе это". С тех пор я никогда больше в жизни не матерился.

Работа не всегда бывала тяжелой. Иногда вагоны не прибывали и удавалось немного поспать в железнодорожной будке, которая стояла на запасных путях. Побольше поспишь на работе, больше времени останется днем на рисование. Но

такое случалось, если не надо было чистить седьмой путь. Ох, уж этот знаменитый путь номер семь! Он обслуживал небольшой камнедробильный заводик, на котором работали женщины из соседнего женского лагеря. Работать на этом пути для заключенного единственная радость, счастье и просвет в тусклом лагерном существовании. Работая рядом с женщиной, можно перекинуться с ней словом, сунуть записочку, назначить свидание. Здесь завязывались знакомства, вспыхивали интрижки, возникали порой настоящие большие чувства. Кто знает, сколько пар познакомилось, стало встречаться, а в дальнейшем, уже на свободе, может, поженились благодаря пути номер семь. Надзор там был не очень строгий, конвоиры были и сами не прочь позабавиться. Только задремлешь — телефонный звонок: "Але, десятник! Сегодня ночью на седьмой состав прибыл?" "Нет, — отвечаю, — не прибыл". Солдат не унимается: "Может, пути надо почистить?.." "Нет, — отвечаю, — совершенно чистые пути, ничего делать не надо". Конвойный и без меня об этом прекрасно знает, однако настаивает: "Послушай, десятник! Устрой это... Никто не спит. Ждут звонка..." Я подчиняюсь, потому что, если откажу, то в следующий раз вместо часа они будут разгружать вагон целый день. А начальство претензии ко мне — не умеет работать с людьми.

Страшнее была уголовная ответственность десятника при несчастном случае. Техника безопасности существовала только на бумаге. Работа была очень опасной: участки между путями скользкие, слабоосвещенные, провода высокого напряжения протянуты невысоко. Грузчики постоянно работают ночью и рядом с проводами. Их шатает от усталости, глаза слипаются. В темноте движется состав, человек зазевался — и нет человека. Судить будут десятника. Непреднамеренное, конечно, убийство, однако, пять лет как минимум дадут. Это была одна из причин моей постоянной мечты: как можно скорей уйти с этой работы. Однако перспективы не было никакой.



"Дверь №6", холст/масло, 1966

Незадолго до рождения сына Саши в 1952 году к нам переехала жить Валина бабушка, мать Евгения Леонидовича. Рано овдовев, она в течение долгих лет жила у своей сестры, жены служащего какого-то министерства, квартира которого находилась в самом центре Москвы. Но сестра умерла, чиновник женился вторично, выбрав на этот раз в жены собственную домработницу. Домработница приказала срочно выселить чужую, никому не нужную бабуку.

Она жила у нас несколько лет, а последние два года она медленно умирала от старости. Страшно было смотреть на иссохшее лицо и покрытое струпьями тело, от которого исходил зловонный запах. Мы меняли простыни каждый день, однако всякий раз, переворачивая бабушку, вынуждены были закрывать платком нос. Разрешение на захоронение выдали, даже не засвидетельствовав акта о смерти. К тому же сказали, что мест на кладбище нет, но что в соседнем лесу находится дикий участок, где люди самовольно, без всякого разрешения роют могилы и хоронят родственников. За гробом пришлось ехать в Москву, но дать погребальный автобус там оказались, заявив, что живущие за городом на это права не имеют.

Пришлось договориться с шофером мебельного фургона, который согласился не только перевезти гроб, но и отвезти тело на кладбище. Я дал ему 300 рублей старыми, почти половину моей тогдашней зарплаты, и попросил помочь нам вырыть могилу. Шофер долбит с нами мерзлую землю отказался, зато показал, как уложить тело в гроб и как опустить гроб в яму. Он оказался очень сведущим в делах погребения, так как, очевидно, не впервые использовал свой мебельный фургон в качестве погребального катафалка. Наконец, работа была закончена. Лев сколотил деревянный крест и установил его над могилкой. Мы возвращались домой поздно ночью, совершенно разбитые, измученные и очень печальные.

Лесное кладбище существует до сих пор. Оно разрослось, расширилось и отхватило у леса новый порядочный кусок. Там стало теперь столько могил, что, принося цветы на бабушкину могилу, мы с трудом ее находили. Людям начальство, должно быть, по-прежнему говорит: "Наше дело маленькое. Если хотите, хороните на неохраяемом. Там все хоронят". Но если однажды тому же начальству для чего-нибудь понадобится этот участок, оно тут же его займет и уничтожит все могилы. Начальству на всякие сентиментальные чувства наплевать.

Гораздо позже — мы тогда уже жили в Москве — почти так же, но уже от болезни умирала Ольга Ананьевна. У нее был неизлечимый рак печени, в больницу ее не брали. От ужасных болей ее спасал только морфий. Однако в поликлинике морфий выдавали в ничтожных количествах и надо было долго ждать разрешения главврача, единственного, имевшего право на выписывание наркотиков. Не знаю, как бы мы все это пережили, если бы я не сумел доставать морфий на черном рынке. Вот уж воистину — не имей сто рублей, а имей сто друзей, хотя в данном случае и рубли имели громадное значение.

Ольга Ананьевна умерла на наших руках в ночь с 8-го на 9-е мая, как раз накануне празднования Дня победы. Когда я пошел в ЗАГС, чтобы оформить акт о смерти и попросить разрешение на захоронение, все уже было закрыто. Без этих документов из морга отказались прислать специального служащего, который бы заморозил тело. Как назло, весна в том году выдалась очень теплая, и уже через некоторое время трупный запах заполнил всю квартиру. После праздников служащий из морга все-таки появился и объявил, что уже слишком позд-

но и он отказывается замораживать. Я дал ему порядочную сумму, и все немедленно устроилось. Купили гроб, прибыл автобус, и мы поехали в крематорий. Таково было желание Евгения Леонидовича — сжечь тело жены в крематории, сама же Ольга Ананьевна никаких пожеланий по этому поводу не высказывала.

Наша жизнь в Лианозове была счастливой, но материально достаточно тяжелой. Я зарабатывал всего 680 рублей старыми деньгами в месяц. Валя некоторое время работала на заводе, но когда мы окончательно устроились на новом месте и забрали Катю от бабушки с дедушкой, работу пришлось бросить, потому что в яслях Катя часто болела. Дети там часто болели, так как на сорок ребятишек в группе полагалось всего две няни. Мы рассудили, что чем то и дело брать бюллетень, лучше для Вали и для ребенка будет, если Валя останется дома. Как-нибудь проживем на одну зарплату. Однако, прожить на одну зарплату, да еще на такую мизерную, было трудно. Питались мы, в основном, картошкой, кислой капустой, килькой, по три рубля килограмм (ее мы закупали сразу по килограмму) и мелкой рыбешкой хамсой, которая теперь почему-то исчезла из продажи. С картошкой и постным маслом эта хамса была довольно вкусной! Для детей покупали на неделю сто граммов сливочного масла и поллитра молока на два дня. Чай пили слабый, чуть подслащенный, колбасу покупали "собачью радость". Однажды мы с Валей решили поджарить "собачью радость" на сковородке, чтобы хоть немножко улучшить вкус. Когда колбаса эта нагрелась, то вдруг растаяла, и мы увидели вместо кусков красноватую воняющую жидкость.

На работе три рубля уходило у меня на обед, причем в столовой я покупал суп без мяса за сорок копеек (с мясом стоил в два раза дороже), второе стоило два пятьдесят, но я брал полпорции — по рубль пятьдесят, а на третье — чай. Иногда, если оставалось несколько лишних копеек, покупал маргарин, чтобы намазать на хлеб. Без чего я уже совершенно не мог обходиться, так это без папирос. В то время самыми дешевыми были "гвоздики". У них название было другое, но все называли их так за внешний вид — тоненькие, как гвозди, и сделаны из самого дрянного табака. Бумага у "гвоздиков" всегда рвалась, а табак рассыпался, как пыль. Чуть лучше был "Прибой", а "Беломор", который теперь курят все, считался шиком. О "Казбеке" и не говорю — его курило только большое начальство.

Когда я приносил домой получку, мы с Валей садились и подсчитывали расходы. Однако при самой строжайшей экономии все равно еле-еле дотягивали до следующей получки. Но иногда случалось, что кто-нибудь заказывал нарисовать картину, и я в сотый раз делал копию шишкинских "Медведей в еловом лесу". И тогда устраивался пир. Мы уезжали в Москву, покупали там 200 граммов дорогой колбасы (тогда полно было в продаже всяких копченых колбас, ветчин, осетрины, севрюги, икры — были бы только деньги), граммов 50 красной икры и бутылку портвейна. Потом мы гуляли в парке, чуть захмелевшие, болтали, смеялись, мечтали о невозможном — к примеру, о том времени, когда я смогу уйти с работы и зарабатывать на жизнь только живописью, или о том, как вдруг получится, что мы сумеем получить комнату в Москве.

В начале марта 1953 года газеты и радио сообщили, что Сталин тяжело болен. К нам, помню, пришел Сапгир, и мы подняли тост за то, чтобы Сталин умер. Через день, когда я был на дежурстве, услышал по радио о его смерти.

В течение нескольких дней в Москву нахлынуло такое количество народа, что поезда перестали останавливаться на пригородных станциях. Те, кто были на похоронах, рассказывали, что похороны вождя вылились в грандиозную Ходынку. Люди притихли — все ждали, что будет дальше. Сначала власть перешла в руки Маленкова. Он казался более уважаемым, чем Берия с его устоявшейся репутацией палача. Маленков в своей речи объявил, что приложит все усилия к тому, чтобы народу жилось лучше. "Каждый советский гражданин, — сказал он, — получит поросенка к воскресному обеду". Маленков сам был похож на свинью, и над ним исподтишка посмеивались — мол, пускай сам собой и обеспечивает каждую советскую семью. Но вскоре Маленков исчез с горизонта, и все страшно удивились, что его не расстреляли, не посадили в лагерь, а отправили начальником на какую-то сибирскую стройку. Воистину, над страной повеяли новые ветры.

У нас на работе тоже произошли перемены. Лагерь уничтожались один за другим, рабочих стали брать вольных, а нашу организацию перевели в Министерство путей сообщения. Работать по двадцать четыре часа в сутки запретили из опасения несчастных случаев, и мне пришлось перейти на новое, совершенно не устраивающее меня расписание. Теперь я почти совсем не мог заниматься живописью. Зарплата не увеличилась, никаких шансов на продвижение у меня не предвиделось, работал я спустя рукава, и начальство открыто мне говорило: "Твое место не здесь, десятник... Может, имеет смысл подыскать другую работу?"

И в 1956 году я решил — была не была — уйти с осточертевшей работы. Как раз незадолго до того вышел закон, закреплявший жилплощадь за теми, кого уволили по сокращению штатов. Нарисовав очередную картинку и подарив ее очередному начальнику, я упрямил его, чтобы меня уволили по сокращению штатов. Именно в это время у Евгения Леонидовича я познакомился с художником Колей Вечтомовым, который работал на Декоративно-оформительском комбинате. Время от времени он отдавал мне свои заказы, что позволяло мне зарабатывать в месяц приблизительно половину моей зарплаты. Продолжая рисовать портреты и делать копии, я мог заработать вторую половину. Разница состояла лишь в том, что прежний заработок был постоянным и регулярным, что давало ощущение стабильности, а нынешний зависел от самых неожиданных вещей и заставлял жить с чувством постоянной тревоги и неуверенности в завтрашнем дне. Но другого выбора у меня не было.

## МОЯ ВТОРАЯ ЖИЗНЬ

### 10. Да здравствует фестиваль!

Подготовка к Международному фестивалю молодежи началась задолго до его открытия.

Разрешая в 1957 году устроить Международный фестиваль, Никита Хрущев стремился ошеломить приехавших в Союз западных гостей. Чтобы достойно представить СССР в области искусства, по всей стране организовали серию выставок. На нижней ступени находились областные, где производился первичный отбор. Лучшие произведения отсылались на республиканские выставки, и после нового отсева полотна представлялись на общесоюзную выставку, где жюри делало окончательный отбор.

И тогда я решил попытать счастья. Пришлось собрать все мужество, чтобы представить на Московскую городскую выставку четыре очень тщательно написанных пейзажа. Отвергли все четыре. Однако на том же конкурсе я увидел, что жюри приняло три работы не знакомого мне тогда художника Олега Целкова. Это были режущие глаз яркие полотна, написанные плоско и без перспективы. Тогда я не знал, что эти картины выполнены в манере позднего "Бубнового вала".

Жюри проявило исключительный интерес к работам Целкова, и меня удивили горячие споры, которые вокруг них развернулись. Мои скромные пейзажи казались мне гораздо лучше сделанными хотя бы с точки зрения профессиональной. Домой я вернулся очень расстроенный и сказал сам себе: "Ну, что ж, если вам это нравится, вы это получите!" В то время Кате исполнилось семь лет, и она, как все дети, любила рисовать. Рисовала цветными карандашами все, что видела — дома, деревья, бабушку с дедушкой. Я подумал: "А что, если увеличить один из ее рисунков и перенести его на полотно!"

И тогда же я написал картину "Бабушкины сказки", потом пейзаж с луной и двумя мяукающими котами — он назывался "Мечта о третьем коте" — и еще две работы в том же духе. Для меня подобная живопись, выполненная кистью и мастихином, превратилась почти в игру. Позже я понял, что именно эта игра позволила мне раскрепоститься, освободиться от всего, что меня сковывало до сих пор.

Тем не менее, неся свои "Сказки" и "Котов" на выставку, я чувствовал себя чуть ли не обманщиком. Но мои новые картины вызвали настоящую баталию между членами жюри. Обсуждение длилось больше сорока минут. Увы, и на этот раз ни одна работа не была принята к показу. Решив не отчаиваться — у меня вдруг появилось ощущение, что должны произойти перемены, — я стал искать, что бы могло им понравиться. Решил обыграть "социальный" сюжет. Нарисовал "безработного", который сидел в мятой шляпе на пороге какого-то мрачного дома. Безработный глядел вдаль, опустив меж колен узловатые, натруженные, "рабочие" руки. Изображенная на другой картине проститутка стояла, опершись о фонарь и вызывающе курила сигарету. Это уже для того, чтобы в отношении девицы не оставалось никаких сомнений. Я проститутку сроду не видел и думал, что курение сигарет является определяющим признаком их профессии. То, что подобные сюжеты почерпнуты из западной жизни, подразумевалось само собой, ибо кто же у нас не знает, что ни проститутки, ни безработных в стране Советов нет. Кроме того, я сделал несколько монотипов (техника, в то время мало знакомая).

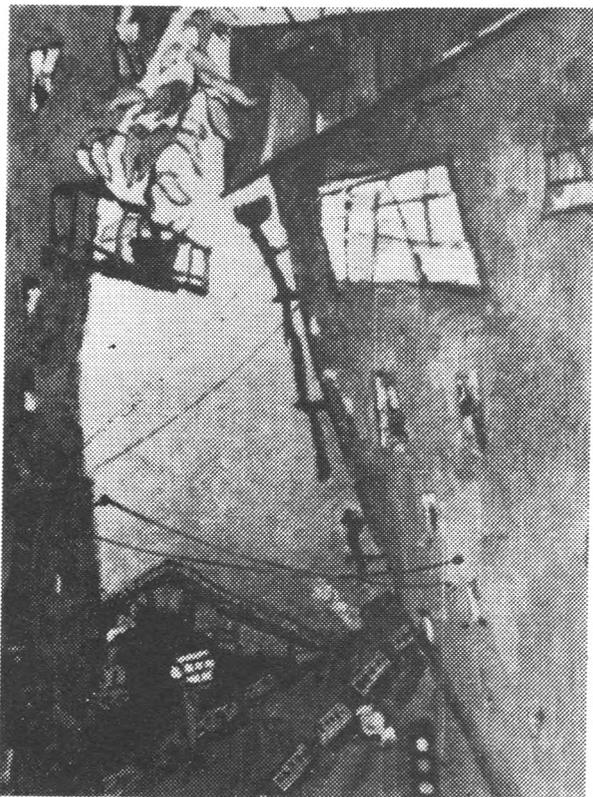
Между членами третьего выставкома вновь разгорелись ожесточенные споры по поводу моих "социальных" картин. Одни находили их чрезвычайно сильными, другие говорили, что подобные полотна могут оскорбить наших западных гостей. Победила точка зрения последних, но зато они приняли одну из монотипов, на которой был изображен скромный букет полевых цветов. Эта моя монотипия и была выставлена на фестивале и даже получила почетный диплом! В тот же вечер, вернувшись домой, я уничтожил и "Безработного", и "Проститутку". Слава Богу, что эти надуманные картины не понравились начальству. Впрочем, я отлично понимал, что если бы они начальству понравились, я был бы доволен. Тогда я считал совершенно естественным, что надо писать работы, которые нравятся начальству — все равно, будь то рекламные плакаты, изготовлявшиеся на нашем комбинате, будь то пейзажи или натюрморты. А если хочешь писать для себя, для души, то и зани-

майся этим дома для собственного удовольствия и показывая самым ближайшим друзьям.

Незадолго до фестиваля я познакомился с широко известным в московских кругах художником Юрием Васильевым. Евгений Леонидович говорил, что он делает интересные вещи. В то же время я знал, что Васильев — член партии и занимает прочное положение в Союзе художников. Как это могло совмещаться? Как ни странно, могло, и вскоре я в этом убедился. Придя к нему домой, я увидел на стенах удивительные для меня абстрактные полотна, скульптуры в стиле Арпа и мобили в стиле Кальдера. Одна особенно привлекла мое внимание: деревянная колода в человеческий рост с вклееными в нее предметами — монеты, пуговицы, осколки стекла. Васильев работал над скульптурой много лет и считал, что закончит ее к концу жизни. "Настоящий художник, — сказал он мне, — должен постоянно собирать всюду то, что ему нравится, и затем вносить в свои произведения". Работы Васильева оказались настоящей историей современного искусства, но я этого не знал и был поражен. Надо сказать, что и сам Юра не скрывал того, что он работает в стиле того или иного западного художника.

На фестивале Васильев выставил портрет, выполненный в ван-гоговской манере, Васнецов — в деревенской, на картинах Жилинского и Коржева лежал явный отпечаток итальянского неореализма, проникшего в Союз, благодаря кинофильмам. В коржевской картине "Любовь", например, на берегу реки сидят двое — мужчина и женщина. Лица у них усталые, грубые, руки большие, натруженные. Неподалеку лежат два велосипеда. Ни серпов, ни молотов, ни сияющих вершин коммунизма... Лет через десять, когда подобная манера вошла в моду, и власти стали терпимо к ней относиться, меня нередко спрашивали, почему я не последовал тогда примеру этих художников. Ходил бы теперь в преуспевающих. Я никогда не знал, что ответить.

Перед фестивалем художественную Москву залихоради-



"Индустриальный пейзаж", холст/масло, 1957

ло. Люди постоянно встречались, обменивались мнениями, обсуждали, в основном, картины членов "левого крыла" Союза художников. Те горделиво на всех поглядывали. Меня, мелкую сошку, никто не замечал, но и я, помнится, тоже никого не замечал, ходил возбужденный общей празднично-напряженной атмосферой. Когда фестиваль открылся, перед художественным павильоном образовалась огромная очередь. С утра я уже бежал в парк Горького и толкался в зале, где висела моя монотипия. Никогда ни до того, ни после я не испытывал такой гордости, какую вызывала во мне эта маленькая скромная работа. Это была первая и, увы, последняя моя картина, которая была выставлена на официальной советской выставке.

## 11. КОМБИНАТ

Я перестал работать на железной дороге, и неотвязной заботой стало беспокойство о завтрашнем дне. Иногда я даже жалел, что бросил пусть и дрянную, но зато обеспечивавшую твердый заработок службу. Левая работа едва позволяла связать концы с концами. И, несмотря на то, что выполненные мною заказы, как правило, нравились, у меня не хватало духу пойти попроситься на комбинат на постоянную работу. Полученный на фестивале диплом прибавил храбрости. Я предстал перед начальником отдела кадров комбината, хорошенькой женщиной, которая едва взглянув на знаменитый диплом, сказала, что эта бумажка ничего для них не значит и что своих работников девать некуда, не то, что брать чужих с улицы. Обратно я шел мимо дирекции, куда решил на всякий случай постучаться: а вдруг повезет!

Директор жестом пригласил меня сесть и спросил, что мне нужно. Положив диплом на краешек стола, я довольно невразумительно стал объяснять, что, мол, я как участник фестиваля и как художник, имеющий диплом... Директор посмотрел диплом и сказал: "Вы только на него посмотрите! Это же лауреат Международного фестиваля молодежи, а у нас нет в комбинате даже простых участников!" — и тут же велел принять меня в комбинат, объяснив начальнику отдела кадров, что "лауреаты Международных фестивалей на улице не валяются". Я в мгновение ока был принят на работу.

Надо сказать, что поначалу она меня очень устраивала. Во-первых, потому, что впервые в жизни я мог зарабатывать на хлеб с помощью кисти и карандаша и, во-вторых, потому, что благодаря комбинату я был избавлен от необходимости наниматься в дворники или в ночные сторожа, так как ничего другого я делать не умел.

Я работал с моим другом Колей Вечтомовым, Володей Немухиным и Львом Кропивницким. Работая вместе, мы организовали небольшую сплоченную группу и довольно неплохо зарабатывали, особенно к концу года, когда комбинат начал оформлять павильоны ВДНХ.

В Москве царил тогда довольно своеобразная атмосфера. Впервые за много лет власти разрешили издать крошечные сборнички стихов Есенина и Ахматовой, разошедшиеся с невероятной быстротой. Появился "Синтаксис" Алика Гинзбурга, рукописный сборник со стихотворениями Марины Цветаевой, Осипа Мандельштама, Беллы Ахмадулиной и Генриха Сапгира, Окуджавы, Бродского и др. За крамолу, правда, Алик заработал два года лагерей, однако, почин Самиздату был сделан. Люди впервые за много лет перестали бояться говорить о прежде запретных вещах, в области живописи появилась даже какая-то видимость "свободы". Писатели, композиторы, ученые,

врачи приходили в мастерские художников, принимали участие в спорах и обсуждениях, смотрели картины, принимали или отвергали, иногда покупали. Появились первые коллекционеры молодых советских художников – Костаки, знаменитый кардиолог Мясников, фотограф Нутович. Покупали картины и жившие в Москве иностранные дипломаты и журналисты. В ту пору начали покупать картины и у меня.

Мы продолжали жить в лианозовском бараке, а так как телефона у нас не было, то объявили, что устраиваем "приемный день" – воскресенье. Чаще других у нас бывали Генрих Сапгир, Игорь Холин, Коля Вечтомов, Лев, Володя Немухин с женой-художницей Лидой Мастерковой. Вообще приходило много народу, иногда совершенно незнакомого. Писатель-сюрреалист Юрий Мамлеев привел однажды двух девиц, одна из которых называлась Лорик. Блондинка, носившая темные, в пол-лица очки, она всегда была окружена группой молодых людей, называвшихся "мамаськами" и создававших вокруг нее атмосферу обожания. Лорик говорила хрипловатым голосом и называла себя "матерью русской демократии".

Юрий Мамлеев, кажется, преподавал арифметику в младших классах, однако в Москве он был известен как писатель-мистик и основатель группы "сексуальных мистиков". О собраниях этой группы рассказывались самые невероятные вещи. Якобы раздобыв неведомыми путями западные порнографические журналы, участники собраний в соответствии с установками этих журналов занимались самыми изощренными видами половых извращений. Женщины ходили голыми, партнеры менялись, новички были обязаны немедленно включиться в общее действо.

Сгоравший от любопытства Сапгир решил в расчете на небывало-острые ощущения сходить на одну из встреч. Но вместо порнографических журналов он увидел висевшую на стене газету с вклеенными репродукциями Дали, посвященную вопросам мистицизма в творчестве Толстого и Достоевского. Члены группы долго спорили на эту тему, а Сапгир, которому стало скучно, заснул. С тех пор он никогда не ходил на заседания группы. Сам Мамлеев словно бы жил в каком-то потустороннем мире. Он верил в загробную жизнь, в чертей, вампиров, говорили, что члены его группы ходили на кладбища, смотрели, как зарывают покойников, иногда сами ложились в гробы, чтобы испытать острые ощущения.

Наши приемные дни имели огромный успех. По узкой дорожке, ведущей от станции к нашему барaku, порою целыми группами шли посетители. В гости не раз приезжали иностранцы. Было дико видеть роскошные лимузины, этикие "голубые сигары", которые и в Москве-то нечасто увидишь, возле нашего темного приземистого барака. Соседи наверняка уже донесли "куда следует". Мы с Валею ужасно боялись неприятностей и со дня на день ждали визита милиции. Однако беда пришла с другой стороны.

Нередко я показывал гостям одну из первых выполненных в новом моем стиле картин, на которой изображалась помойка с номерным знаком восемь. Для меня картина была одной из обычных, гостям она нравилась, но особых эмоций не вызывала. И вдруг, словно гром с ясного неба – появление в "Московском комсомольце" статьи обо мне под названием "Помойка №8". Сначала цитировалось длинное письмо в редакцию от лица некоего разгневанного комсомольца, который писал, что посещая с товарищами мои вечера, он всегда видел жуткие, мрачные, исполненные безысходного отчаяния, картины, и эти картины отрицательно действовали на его состояние.

Самое грустное, – подчеркивал автор, – что Рабин в современном недопустимом свете рисует нашу социалистическую действительность, а молодежь, приходящая к нему, на все это безобразии смотрит и хвалит. Так пусть же все знают, что подобный художник существует и разлагающе действует на умы советской молодежи. Пора прекратить подобное безобразие!

Имя журналиста было мне неизвестно, а комсомолец, писавший письмо, кажется, действительно, к нам приходил. Журналист же использовал много деталей, которые автору письма не могли быть известны. Статья кончалась призывом прекратить показ подобных картин. За появление подобной статьи могли расправиться очень круто – либо выгнать из комбината, куда я устроился с таким трудом, ибо выселить из барака, либо вообще вышвырнуть за пределы Московской области. Примеры осужденного за тунеядство Бродского и отправленного в Сибирь Амальрика стояли перед глазами.

Но ничего не произошло. Жизнь шла своим чередом, на работе никто ничего мне не говорил – очевидно, газета со статьей в комбинат отправлена не была и прошла незамеченной. Постепенно страхи забылись. Однако своего отношения к картине "Помойка №8" власти никогда не переменили. Когда в 1978 году я отправлялся в туристическую поездку на Запад (она оказалась поездкой в один конец), я решил с собой взять несколько картин на продажу. Хотел также сравнить их с теми, которые рассчитывал написать в результате заграничных впечатлений. Было разрешено вывезти несколько работ, однако Министерство культуры категорически запротестовало, увидев "Помойку №8": дескать, подобная картина может дискредитировать нашу страну, она рисует ее в исключительно мрачных красках и т. д. Напрасно я доказывал, что "Помойка" много раз репродуцировалась в иностранных газетах и журналах по искусству. Чиновники были негибачемы. Надо сказать, что тогда впервые меня же за вывоз собственных картин заставили заплатить огромную сумму, чем впервые подтвердили, что "эта ничего не стоящая живопись" все-таки кое-чего да стоит.

В 1961-62 годах в Москве было много иностранных экспозиций. Особенно запомнилась американская национальная выставка.

Мы ходили в отдел живописи, где на стендах лежали книги и каталоги по искусству. Украсть такую книгу было довольно сложно, но вырезать нужные страницы иногда удавалось. Помню, как второпях немилосердно ее разрезали, вырывая иллюстрации. Испорченную книгу заменяли, и все начиналось сначала. На американской выставке Лев, пока я его прикрывал, ухитрился стащить том по абстрактному искусству. Он тут же отнес его домой и перефотографировал все иллюстрации, которые раздал друзьям и знакомым.

Я был знаком с Виктором Луи, советским журналистом, работающим в то время для английской газеты (случай единственный в своем роде). Я пожаловался Виктору, что на выставку попасть невозможно, и попросил одолжить на день его журналистский пропуск. "Пропуск можешь взять, – улыбаясь, сказал Луи, – только что вам, художникам, мешает сфабриковать точно такой же? Ведь на то вы и мастера..." Его совет был принят к сведению. Обегав все московские магазины писчебумажных принадлежностей, мы, наконец, нашли школьные тетрадки с точно такой же голубоватой обложкой и, обрезав их по формату, в точности скопировали текст. Таких пропусков мы изготовили пять и теперь со спокойной совестью могли целыми днями проводить на выставке. Так мне удалось посмотреть в спокойной обстановке Раушенберга, Поллака,

Ротко. Все рекорды побил Лев, который за раз выпил пятьдесят стаканов бесплатно раздававшейся пепси-колы. Он сделал это из принципа, чтобы доказать, что от этого напитка невозможно отравиться, как утверждала официальная пропаганда.

Не меньше, чем американская, нас заинтересовала французская выставка — там демонстрировалась живопись Пикассо, которого мы до сих пор знали только по его работам в Пушкинском музее, великолепный Манессье, Сулаж, Арп, Леже. Посетил выставку и Никита Хрущев. Рассказывали, что перед картиной Пикассо "Женщина на пляже" он остановился и довольно долго ее разглядывал. Наконец сказал: "Как можно рисовать подобное безобразие!" В Москве по этому поводу ходил такой анекдот: "Встречается однажды Хрущев с руководителем ЦРУ Алленом Даллесом и спрашивает его: "Скажите, пожалуйста, вам нравится Пикассо". "Нет, — отвечает Даллес, — этот художник совершенно не в моем вкусе". "Ну вот, — разводит руками Хрущев, — тогда объясните, почему из-за этого никто над вами не смеется, а когда я говорю, что мне не нравится "Женщина на пляже", то меня все подымают на смех".

Первого иностранца к нам домой привел поэт Холин. Это была американская журналистка мисс А. М. Холин был предусмотрителен, А. М. оделась скромно, машину оставила далеко от Савеловского вокзала, в поезде все время молчала, и они с Холиным без приключений добрались до Лианозова. Журналистка купила картину, сказала, что ей очень нравится моя живопись, и попросила фотографии работ, чтобы показать их друзьям из посольства. А. М. была моей первой покупательницей-иностранкой, хотя, по правде сказать, это не совсем так. До этого две свои картины я продал знаменитому коллекционеру греку Георгию Дионисовичу Костаки, который работал в канадском посольстве и всю жизнь жил в России. Он был женат на советской, и русский был его родным языком. Так что мы его не боялись и за иностранца почти не считали. Приехав в Лианозово, Костаки выбрал две картины и спросил, сколько они стоят. Я сильно смутился и, наконец, выдавил из себя: "Пятьдесят рублей..." Потом торопливо добавил: "Если для вас дорого, то я готов уменьшить цену вдвое". Он ответил: "Ваши картины, дорогой мой, стоят гораздо дороже. Я не очень богат, но дам вам по сто рублей за каждую". Я был очень доволен и тут же подарил ему третью картину. Ведь находиться в коллекции Костаки было честью. Он собирал двадцатые годы, и в его квартире висели Кандинский, Малевич, ранний Шагал, замечательные работы Поповой. Были там и старинные иконы. Некоторые полотна за неимением места были подвешены к потолку. Перед отъездом в Грецию, где Георгий Дионисович живет в настоящее время, он часть коллекции пожертвовал Третьяковской галерее, однако, насколько мне известно, ничего из подаренного им до сих пор выставлено не было.

Благодаря Костаки, я уже смело, не колеблясь, назвал американской журналистке цену — сто рублей за картину. Журналистка казалась очень довольной, выбрала еще одну работу и сказала, что приедет за ней в следующий раз. Больше я ее никогда не видел. Оказалось, что ободренная успехом первой поездки, она во второй раз оставила свою большую белую машину совсем недалеко от вокзала. Ей с Холиным дали возможность сесть в поезд, позволили доехать до станции, за которую ехать иностранцам запрещалось, затем задержали и потребовали вернуться в Москву. Мы с Валей очень беспокоились. Проходил час за часом... Никого нет. Напрасно мы себя уговаривали, что журналистка — женщина занятая, что наверняка ее задер-

жали срочные дела. Однако, чувствовали, что дело совсем в другом.

Что касается Холина, то ему позволили сесть в машину журналистки, и она довезла его до дому. Как только она уехала, его задержали. Его допрашивали до самого вечера и потом отпустили. Прошло несколько дней. Решив, что все обошлось, я повез к Холину выбранную журналисткой вторую работу, и он по телефону договорился с А.М., что мы будем ждать ее в скверике возле Большого театра. Мы медленно прохаживались с Игорем по аллее, как вдруг к нам приблизились два субъекта в одинаковых серых плащах и с одинаковыми безликими физиономиями, схватили Игоря под руки и потащили к выходу, где возле скверика стояла черная "Волга". Очевидно, Холин спрашивал, на каком основании его забирают, потому что субъекты показывали ему какие-то документы. Наконец, машина рванулась с места и исчезла. Прошло еще полчаса. А. М. не пришла. На другой день я позвонил Холину и очень обрадовался, услышав голос Игоря. Он рассказал, что его привезли в отделение милиции, где вновь несколько часов допрашивали — обо мне, о его отношениях с американской журналисткой, о моих друзьях и знакомых. Ему говорили, что иностранцы только для вида интересуются стихами и картинами, на самом же деле все они шпионы. Под конец сказали, что если дальше он будет якшаться с иностранцами, то лагеря ему не миновать.

Лианозовская милиция взяла нас на заметку. Самих нас в отделение не вызывали, однако наших соседей о нас расспрашивали. Однажды в дверь постучали. Открывать, как всегда, пошел я, потому что к соседке обычно почти никто не приходил. Передо мной стоял незнакомый человек, который спросил соседку, но когда она вышла, по выражению ее лица я понял, что посетитель ей был незнаком. Они прошли в ее комнату и разговаривали там приблизительно полчаса. Когда она провожала незнакомца до дверей, лицо у нее горело. Как-то позже она нам сказала, что ее просили информировать органы обо всем, что у нас происходит: кто к нам ходит, особенно из иностранцев, о чем говорят, что делают... Не знаю, согласилась ли она быть осведомителем, однако с тех пор в нашу комнату ни разу не заглянула. Уже перед самым нашим переездом в Москву соседка, явно волнуясь, сказала, что при удобном случае все нам расскажет, однако такого случая не представилось.

Приблизительно в это самое время произошла знаменитая история в Манеже. В 1962 году по случаю 30-й годовщины МОСХа решили устроить там выставку художников, произведения которых до сих пор не выставлялись и находились только в запасниках. Речь, конечно, не шла о супрематистах и конструктивистах 20-х годов типа Кандинского или Малевича. Для художников это было очень важным событием, молодые из левого крыла МОСХа решили, что времена переменялись, что настала пора дать бой сталинистам-ретроградам. Такие художники, как Андронов, Никонов, Васнецов и Жилинский стремились доказать это на примере своего творчества.

На выставке в Манеже выставлялись, как правило, лишь полотна членов Союза художников. На сей раз сделали исключение для художника Белятина и его учеников. Поразительно, что, не будучи членом Союза, он сумел создать свою школу, имел горячих приверженцев и добился в работах учеников единого стиля: все они писали в абстрактной манере.

О Белятине ходили самые невероятные истории, и он, как говорили, нередко сам же их сочинял. Рассказывали, что его ночью на Красной площади сажали в машину, отвозили

в Кремль, подземными коридорами вели в роскошные кабинеты, где он до утра пьянствовал в компании Хрущева и Кастро. Что тут было правдой, а что нет, понять было трудно. Во всяком случае, Белютин обладал запоминающейся внешностью, был богат и собрал отличную коллекцию икон и старины. Безусловно, он использовал все свои связи для того, чтобы выставиться в Манеже с учениками. Таким образом, он стремился дать своей школе вполне официальный статус.

Чиновники от искусства, которые его ненавидели, решили воспользоваться моментом для того, чтобы отомстить выскочке. Для Белютина и его школы, а также для работ Эрнста Неизвестного были отведены залы на втором этаже, закрытые для широкой публики, но открытые для начальства. Туда и привели Хрущева. Гнев главы Советского государства при виде "бездарной мазни" излился в потоке ругани. Художники, бледные и растерянные, молча стояли перед ним. Единственным, кто осмелился возражать, был Эрнст Неизвестный. В тех условиях для подобного поведения требовалось мужество. А сталинисты из правления МОСХа ликовали. Было созвано срочное заседание, на котором от Неизвестного потребовали раскаяния. Вытащили на свет какую-то старую историю, что-де он где-то когда-то в пьяном виде кого-то побил. Дело пахло судом. Однако, принимая во внимание известность скульптора, ограничились лишением заказов и условным исключением из МОСХа на год. На Хрущева же смелое поведение скульптора произвело хорошее впечатление. Впоследствии он с сожалением вспоминал о своей выходке. После смерти Хрущева его семья заказала надгробный памятник именно Неизвестному.

Неожиданной жертвой скандала в Манеже оказался Евгений Леонидович Кропивницкий, произведения которого даже не были выставлены в Манеже. Будучи с давних времен членом МОСХа, он никогда и нигде своих работ не выставлял. В период хрущевской оттепели друзья настойчиво ему советовали в МОСХе организовать его персональную выставку. МОСХ согласился. Евгений Леонидович отобрал вещи наиболее декоративного плана — ню, силуэты, несколько абстрактных работ. Были пригласительные билеты и даже напечатали маленький каталог с портретом. Однако после хрущевского выступления в Манеже атмосфера резко изменилась. Кропивницкий вместе с Неизвестным был вызван на заседание специальной комиссии, где от него также потребовали осудить собственные работы. Евгений Леонидович категорически отказался, после чего его тут же исключили из МОСХа.

До самой своей смерти в возрасте 85-и лет Евгений Леонидович не оставлял занятий поэзией, живописью и музыкой. Его картины никогда не выставлялись, стихи никогда не издавались, последние годы жизни он жил на пенсию учителя рисования — сорок рублей в месяц, в маленькой комнатенке без удобств — без воды, без уборной, с дровяным отоплением. Лев снял ему двухкомнатную квартиру. Когда он заболел, Лев взял его к себе. О смерти Евгения Леонидовича нам сообщили по телефону в Париж, когда мы уже навсегда покинули Советский Союз.

*Продолжение следует*

## НОВАЯ НЕОБЫКНОВЕННАЯ КНИГА МИХАИЛ АРМАЛИНСКИЙ. МУСКУЛИСТАЯ СМЕРТЬ

Рассказы. (162 стр., мяг. обл.) 9.50 дол.

Это первая книга прозы М. Армалинского. Как и в его поэзии, эротизм в рассказах является лишь фоном, на котором происходят захватывающие события, полные таинственной значимости. Английский перевод рассказа "Сделка" из этой книги публикуется в журнале *Confrontation*.

Книги стихотворений Михаила Армалинского (мяг. обл.):

"Вразумленные страсти"	5.50 дол.
"Состояние"	5.50 дол.
"Маятник"	6.50 дол.
"По направлению к себе"	6.50 дол.
"После прошлого"	6.50 дол.

"Михаил Армалинский попытался сделать нечто смелое и даже ошеломляющее в русской поэзии. Он пишет о любви, что, конечно, не ново, но пишет он о физической любви, о сексе, что весьма необычно для русскоязычной поэзии. Его язык включает в себя резкие выражения, и он использует такие слова и обороты, которые считались неприемлемыми в серьезной русской поэзии. Это комбинация таких тем и интонаций, которые шокируют читателя и представляют собой попытку проложить новый путь в русском стихосложении...

...Армалинский, без сомнения, мастер своего дела. Каково бы ни было содержание стихотворения, он передает квинтэссенцию чувства и достигает чистоты идеи, что является необходимым для настоящей поэзии".

Журнал *Мировая литература сегодня*. США.

Заказы направлять по адресу:

MIP Company. 1646 Hampshire Ave. So. St. Louis Park, MN 55426

К сумме чека добавьте 1.50 долл. на пересылку. Торговые фирмы при заказе 20 книг и более получают скидку 40% и оплачивают стоимость пересылки.



БЕСЕДА С ВИКТОРОМ НЕКРАСОВЫМ

# «Я пишу здесь, но живу там»

— Вы, наверное, помните утверждение Зиновьева о том, что эмиграция для русского писателя гибельна. Что думаете по этому поводу Вы, писатель с уже десятилетним эмигрантским стажем?

— Я вообще занимаю позиции диаметрально противоположные Зиновьеву. Не хочу вдаваться в его несколько удивляющие меня интервью, но по этому конкретному поводу скажу, что я не считаю, что эмиграция ставит какую-то точку на творчестве писателя. Можно привести сколько угодно примеров.

— По-моему, за примерами ходить далеко, как говорится, не надо. Существует Ваш собственный.

— Ну, я не знаю... Я здесь написал больше, чем за последние десять лет в Союзе. Пять книг. Все они, правда, небольшие, но тезис о том, что порвавши с родиной, с народом, ты рвешь и с творчеством, на мой взгляд, абсолютно неверен. Всегда, где бы ты ни находился, есть что сказать. Даже на необитаемом острове. Там можно написать своего Робинзона Крузо или что-то в этом духе. Другое дело — чем я живу? Живу ли я жизнью Франции (я ныне французский гражданин) или жизнью России? Да, я пишу здесь, но живу там.

— Мне кажется, что по этому поводу хорошо высказался Томас Манн: «Немецкая литература находится там, где нахожусь я».

— Несколько нескромно, но верно. Для меня русская литература находится там, где я. Может быть, не ставши французом, а я им не стал, остался, как выяснилось, абсолютно русским человеком, я стал все-таки парижанином. И считаю,

что Париж мне партия и правительство подарили за мои великие заслуги перед советским народом. Ну, это шутка, конечно. Я грущу. Я тоскую. Но я не сетую. Мне дико не хватает тех, кто остался в России, я бы с удовольствием поехал бы на несколько дней посмотреть, посидеть-поговорить с друзьями. Но о каком-либо возврате туда навеки не может быть и речи.

— Значит, ностальгия порой бывает?

— То есть, я не вылезая из нее. Но у меня ностальгия не по Кремлю, или березкам, а по московским, ленинградским, киевским друзьям, по тем далеким кухням, где мы сидели и говорили, говорили... Их недостает. А заводить в моем возрасте новые дружбы, да вдобавок еще с более или менее чувствительными французами, трудно.

— Что Вы думаете о современной русской прозе?

— Одна или две?

— Нет, как уже кто-то сказал, это проблема надуманная. Просто, каково Ваше мнение о современной нашей прозе?

— Одна, конечно, одна, всегда была одна, разделенная, но одна. Вот я и ответил на вопрос надуманный. Что же касается русской прозы, то сначала расставшись с Советским Союзом, с той страшной ситуацией, проблемы свои писательские я не решил. Намного легче мне не стало, потому что, хоть я пишу здесь то, что хочу, чего там не было, но многое я и потерял. Синявский где-то говорил о том, что в тех тяжелых условиях ты всегда должен быть начеку, у тебя мышцы всегда — напряжены, ты никогда не скажешь ненужного слова. Каждое слово важно, и поэтому, преодолевая в себе советские цензурные рогаки, ты находишь какие-то пути к читателю. Ты все время в форме. Ты, как тебе кажется, все время делаешь серьез-

ное, ответственное дело, и твоя междустрочная фраза твоим читателям сразу понятна. Где-то ты что-то такое сказал, цензура упустила, а читатель понял, тебе жмут руку. Ну, в общем, там ты всегда с чем-то борешься. Здесь, — полная свобода. Но то, что я пишу, о чем бы я ни писал, понося, скажем, советскую власть, Андропова, Черненко, и еще кого я хочу, здешнему читателю, более или менее до лампочки. Мой читатель — остался там. И здесь я уже теряю какую-то форму, мышцы ослабевают, мне не с чем бороться...

— Виктор Платонович, извините, что перебиваю, но тут Вы себе противоречите. Значит, выходит по-зиновьевски: эмиграция для русского писателя гибельна.

— Нет, конечно, не гибельна. И я, как говорится, чуть-чуть сгущаю краски. И к тому же, что-то теряя, мы что-то и обретаем иное в эмиграции. Но все же ту особую силу, которую дает ежедневная борьба, мы постепенно утрачиваем. Именно поэтому мне кажется, что даже то небольшое литературное, естественно, подлинное, а не казенное, что создается в СССР, интереснее того, что мы здесь например, выдаем на-гора. Тут сказать правду ничего не стоит. А там сказать правду, пусть даже не всю правду, очень нелегко. Я не случайно сказал — н е в с ю п р а в д у. На то, чтобы сказать полную — идут только такие люди, которые понимают, что их за это прогонят, но иначе поступить не могут. Куда прогонят — туда или сюда, на Восток или Запад, другой вопрос. Но это и неважно, куда. Такие люди идут ва-банк. И в результате: Владимов и Войнович — здесь. Гелий Снегирев — погиб. Руденко — до сих пор сидит. Здесь же, говори аж самую полную правду, хоть кричи на весь мир — ничем не рискуешь. А там и за часть правды можно пострадать. Вот и пример с избиением Распутина тут

к месту, хоть нынче он и награжден. Правда, говорят, что после награждения его избili еще раз.

— Но вам не кажется, что правда у Распутина получается несколько двусмысленная? Когда, например, я, брал недавно интервью у Наташи Горбаневской, то мы говорили о Распутине, в частности, о повести "Прощание с Матерой". Я с Горбаневской согласен в том, что эта повесть — воплощение народной памяти, более того, крестьянской памяти, из которой писатель вырезал самое главное, самое трагическое — коллективизацию. И тогда память оказывается не памятью, а повесть — ложью, хотя Распутин, конечно, не к этому стремился. Но так вышло в результате усечения памяти в главном. И, вообще, впечатление такое, что советской власти нет.

— Вы, знаете, у Белова тоже не так уж много советской власти, но она чувствуется. Читатель ее чувствует. Я как-то даже пытался разделить советских писателей на какие-то категории. Мы, естественно, не говорим о тех, кто у кормила и у кормушки. У них своя цель, и они ее добиваются, получая взамен восхвалений дачи, посты, заграничные командировки. Так вот, кроме них, есть такая категория, средний слой, что ли, который пишет вещи обтекаемые, вещи чуть лучше, чуть хуже, не важно. Они никого не тревожат. Но есть категория, к которой в какой-то степени и я относился. Эти писатели пишут правду. Не всю правду. Но только правду. Путь всей правды, полной правды, путь Солженицына, Шаламова, Евгении Семеновны Гинзбург, Надежды Яковлевны Мандельштам — это подвижничество. Ты знаешь, что тебя отвергнут, но ты на это идешь. Однако, часть правды, и в этой части уже только правда, тоже немало, и дается нелегко. Скажем, у Шукшина, советской власти как таковой, вроде бы нет, но она, как и у Белова, чувствуется все время. Сейчас, после смерти, его канонизировали и даже, я где-то об этом читал, планету какую-то назвали его именем. Теперь-то, раз уже умер, можно. Мертвых они ласкать умеют и любят. Но вспомним его книги последнего десятилетия. Он знал цену этой власти. Он не боролся с ней открыто, это так, но он ее своим творчеством, не скажу, разоблачал, однако, изображал недвусмысленно. Ибо жизнь в его произведениях, ну, абсолютно такая, какая она в реальности. Все читателем чувствуется и понимается. У Шукшина тема деревен-

ская. У Трифонова — городская. И у обоих советской власти как будто и нет, но на самом деле образ ее есть.

— То есть, Вы думаете, что можно брать самые важные темы и писать не всю правду, а лишь часть ее, и произведение от этого не пострадает, суть замысла читателю будет ясна?

— Да. Если не всю правду, но только правду. Ни в чем не соврать. Я, например, считаю, что лучшая вещь Распутина, повесть "Живи и помни", в которой речь идет о дезертире, очень убедительна.

— Мы с Горбаневской об этой повести тоже говорили. Там Распутин казнит своего героя нравственным судом, даже более жестоким, чем суд советский.

— А я к этой повести по-другому подхожу. Я думаю, что в русской литературе эта вещь, словно некая песнь любви и верности женской. Она там в одном ряду с "Русскими Женщинами" Некрасова. В этой повести Распутин о русской женщине написал, по-моему, блистательно. Написано это безжалостно по отношению к читателю, так как читать такое — трудно, даже мучительно, но написано великолепно.

— Может быть, мы разговор о Распутине затягиваем, но я все-таки вернусь к "Прощанию с Матерой" и к тому самому вопросу о части правды. Значит, Вы считаете, что хотя там и усечена правда, причем, выброшена самая страшная часть правды, повесть не пострадала. Не пострадал авторский замысел?

— Я думаю, что, может быть, иностраный читатель чего-то и не поймет, но мы-то понимаем все. Писатель, чтобы книга его дошла до читателя, вынужден что-то, иногда и очень важное, отбрасывать. Но читатель у нас умный, он знает в чем дело, и он дополняет то, что из-за цензурных рогаток пройти никак не могло.

— Я не совсем согласен с Вами, так как читатель бывает разный, порою и не слишком образованный или знающий, да и откуда узнавать, но читатель-интеллигент, наверно, поймет, догадается, про себя допишет. Но теперь я хотел бы поговорить о писателях-эмигрантах. Кто из них Вам близок, интересен?

— Я люблю Сергея Довлатова. Я считаю его и очень ярким, и очень тонким, и очень интересным, и, при всем его юморе, очень серьезным писателем. Очень мне нравятся короткие рассказы Льва Консона. Казалось бы, все уже сказано о лагерях Шаламовым, Солженицыным, Гинзбург, казалось бы, что и доба-

вить нечего, а Лев Консон сказал свое и по-своему, и очень убедительно. Причем, в маленьких рассказиках, иногда буквально в несколько строчек. Кстати, то же самое и с военной темой. Вроде бы все о ней сказано, читать о ней больше не могу. Но вот появился в Советском Союзе по возрасту уже немолодой человек, писатель Вячеслав Кондратьев и написал великолепную повесть "Сашка", как раз на военную тему. Написал и другие прекрасные вещи на эту тему: "Отпуск по ранению", "Знаменательная дата". Оказывается, через сорок лет после войны можно найти какой-то особый угол зрения и написать о войне так сильно, по-новому. Та же история, что и с Консоном. Очень нравится мне Лидия Жукова, опубликовавшая недавно в Нью-Йорке книгу мемуаров. Но, вообще, если говорить о том, что напечатано за последние годы на Западе, то на мой взгляд, самое замечательное написано не писателями. Написано генералом Григоренко, написано бывшей убежденной коммунисткой Гинзбург, написано, особенно первая книжка, Буковским. Эти люди сумели рассказать о пережитом так, что хочется читать.

— А как вы относитесь к творчеству писателей самого молодого в эмиграции поколения: Юрию Милославскому, Сергею Юрьену, Юрию Гальперину?

— Я люблю Сережу Юрьену, очень способный писатель. Вот и сейчас, в "Стрельце" интересный роман его напечатан. Но не нравится мне, что многие писатели этого поколения злоупотребляют (я позволяю это себе в жизни, но не люблю в литературе) всякого рода словами. Я предпочитаю многоточие. И не очень-то мне сексуальная линия нужна в литературе в той форме, в которой ею нынешняя литературная молодежь пользуется.

— Ну, во-первых, может быть, это последствие советского табу на саму тему...

— Вполне вероятно.

— А кроме того, по-моему, ни Юрьену, ни Милославский, не злоупотребляют сексуальной линией или теми нехорошими словами, ради злоупотребления, ради эпатажа, что ли. У них нет отнюдь желания оскорбить читателя или пощекотать ему нервы, как это сделал Лимонов в своей первой книге. У них — это жизнь как она есть, советская жизнь, в которой всего этого хватает, где в определенных кругах или слоях, причем

## НАШЕ ИНТЕРВЬЮ

не только уголовных, на этом языке в основном и говорят.

— Не знаю... Вот я, например, считаю, что маленькая повесть Юза Алешковского "Николай Николаевич", такая жемчужинка, равноправно вошла в русскую литературу. А она вся состоит из этих самых слов и другими словами ее и написать невозможно. Если же вещь можно написать и без этих слов, то лучше обходиться без них. Но вы, кстати, упомянули Эдуарда Лимонова. На мой взгляд, это очень талантливый человек. "Это я — Эдичка" не очень чистая книга, ее порою читать даже противно, однако, это написано о серьезных вещах. Но мне больше понравился "Подросток Савенко". То есть я не скажу, что понравилась, но интересно написана и об интересном — молодежи 50-х годов в Харькове. Я, между прочим, был летом на юге и взял с собой такой странный литературный коктейль: "Дар" Набокова, "Подросток Савенко" Лимонова и диккенсовского "Оливера Твиста". Решил приучать себя на старости лет к Диккенсу, которого в детстве не любил, предпочитая ему Жюль Верна, Майн Рида и Луи Буссенара. И вот первую премию, так сказать, на моем маленьком конкурсе на берегу Средиземного моря, я отдал Лимонову. Великий Набоков все-таки оказался мне где-то позером. Блистательный стилист, тут ему равен только, быть может, Бунин, но во мне он так же, как и "Оливер Твист", ничего не затронул. А рассказанное Лимоновым оказалось мне близким и интересным, хоть и страшный мир он описывает и словами теми самыми злоупотребляет.

— Из того, о чем мы сейчас говорили, можно сделать вывод: эмиграция писателя не губит. Пишут новые книги и Солженицын, и Максимов, и Аксенов, и Владимов, и Войнович, и Мамлеев, и Вы, и молодые писатели, которых мы узнали, а кого-то и открыли, уже здесь, в эмиграции. В общем, как Вы сегодня заметили, — писателю всегда, даже если он оказался на необитаемом острове есть что сказать. А какова, на Ваш взгляд, литературная ситуация в России? Вы уже говорили о Распутине, упомянули Кондратьева, но что Вы думаете о ситуации в целом?

— Ситуация там, как всегда, тяжелая. Но, с другой стороны, — небезысходная. Вообще, я считаю, что русскую литературу задавить нельзя. Даже Сталин не смог этого сделать. При нем и Пастернак был, и Платонов, и Ахматова, и Бул-

гаков. А в наши дни все-таки полегче, чем в сталинские.

— Вот, Сергей Юрьенен ведет в "Стрельце" рубрику "Литература метрополии: взгляд из Парижа". И он все время откапывает там что-то серьезное, подлинное, интересное.

— Мне это очень в нем нравится и представляется важным, что журнал этим занимается. Я сам одно время занимался обзорами "Нового мира" и почти в каждом номере что-то интересное отыскивал. Пробивается... У меня, знаете, на каменном, бетонном балконе довоенной киевской квартиры вырос тополек. Пробился сквозь цемент. То же и с ростками литературными.

— Как вы оцениваете эмигрантскую печать? Меня, естественно, в первую очередь интересуют литературно-художественные журналы, основная задача которых состоит, по-моему в том, чтобы сохранить русскую культуру, отражать литературный процесс, как в эмиграции, так и в метрополии.

— Ну, конечно, наиболее солидный и наиболее справляющийся с этими задачами — "Континент", который недавно отпраздновал свое десятилетие. И вот очень мне нравится в прошлом году родившийся "Стрелец". Я его читаю с удовольствием. Ну, что, пойдём кофейку выпьем или еще?

— Немного еще. Ваша первая профессия — архитектура, так что косвенно вы связаны и с изобразительным искусством. Поэтому Вам и вопрос: как Вы оцениваете творчество наших художников-нонконформистов? Я хотел бы услышать...

— Взгляд и нечто?..

— Пусть, Виктор Платонович, взгляд и нечто, согласен.

— С возрастом в юношеские годы я был необыкновенным леваком — Корбюзье, конструктивисты и т.д. — вкусы и привязанности меняются. На старости лет я понял, что старая помещичья усадьба мне гораздо милее моего кумира давних лет — Корбюзье. Страшно обрадовался, увидев здесь на выставке Левитана, который, оказывается, мне очень нужен. Больше всего я люблю "Мир искусства" — Добужинского, Остроумова-Лебедева, Сомова, Бенуа. Их картины и непревзойденная книжная графика мне очень близки. Все, что делается сейчас на Западе, мне чуждо. А к нашему русскому, здесь расцветшему, я отношусь, скорей, положительно — при всей моей антилевизне. В 1983 году

была небольшая экспозиция в Люнненберге под Гамбургом. Там выставялось четверо наших — Зеленин, Шелковский, Воробьев и Леонов. Я был просто поражен на вернисаже. Столько людей, такой интерес.

— Это повсюду на наших выставках, но в Германии особенно. Может быть, потому, что немцы пережили свой тоталитаризм, они так хорошо чувствуют творчество наших художников.

— Вероятно, дело и в этом. В общем, мне было очень приятно представлять в Люнненбурге этих четырех художников. Из них мне ближе всего Эдик Зеленин. Не все я у него понимаю. Не знаю, почему там бабочки, почему церковь выглядывает. Но понимать все и не обязательно. Нравится, доходит до меня, до моих чувств. И по части цвета — хорошо. Люблю я Оскара Рабина, который еще, по-моему, не до конца нашел себя в Париже, но теперь уже на подходах, на подходах к самому себе. И понравился мне, несмотря на некоторую однообразность, молодой Рабин, Александр, кажется. Я недавно побывал на его выставке. У него в картинах какая-то загадочность, таинственность, грациозность. Я даже взял несколько открыток, чтобы послать друзьям в Союз. И очень мне нравятся работы Комара и Меламида. Они нашли свой стиль. Просто великолепно.

— В Нью-Йорке сейчас еще несколько художников в этом стиле — соц-арт — работают: Леонид Соков, Александр Косолапов. В Москве этим занимается Эрик Булатов.

— Он мне тоже очень нравится. И, между прочим, нравится журнал "А — Я". Он открывает глаза на самый процесс, хотя мне все эти перформансы малоинтересны. Я не осуждаю, нет, я человек, скорее, добрый, чем злой, но все это вызывает у меня улыбку, иронически я смотрю на это. А в целом журнал, по-моему, делается хорошо.

— Он хорошо делается, но, к сожалению, до последних номеров было в нем этакое сектанство — только перформанс, только концепт, только конструктивизм, только художники, появившиеся в 70-е годы и их предтечи. А это не отвечает самому названию журнала, которое претендует на отображение целого, а не части. Да и сколько раз можно одних и тех же художников, или похожих на них, представлять? Но в последних номерах появились в "А — Я" статьи о Вейсберге и Целкове, и, может быть, Шелковс-

кий, наконец, понял, что замыкаться в узкие рамки 70-х годов журналу нельзя. Если это так, если статьи о Вейсберге и Целкове не случайные эпизоды, а нечто принципиальное, то и журнал, и русское искусство от этого только выиграют.

— Чего мне очень не хватает в нынешней живописи, это портрета.

— Но пишут некоторые художники. Тот же Зеленин, например.

— Это у него не лучшее.

— Оскар Рабин иногда обращается к портрету. Это его интересует.

— Мне, например, нужно, чтобы русские художники сделали два портрета. Мне лично нужно: Сахарова и Григоренко.

— Это трудно. Не по фотографиям же писать.

— На Григоренко, пожалуйста, можете посмотреть. А Сахарова... Ну, трудно, конечно, трудно. Но все трудно. Мне же все-таки хочется уйти из этой жизни, дождавшись портретов Сахарова и Григоренко. Для меня это два самых высоких человека, которых я очень люблю, две личности, перед которыми я преклоняюсь. Знаете, как у меня с книгой мемуаров Григоренко получилось? У него же это огромный кирпич. А я читатель — ленивый, не волевой. Мне один из друзей в Нью-Йорке сказал: "Ты открой на любой странице". Я открыл. И, забыв про Нью-Йорк, забросив дела, в саду у этого моего друга Юры Дулерайна, я читал эту великую книгу четыре дня, не отрываясь. Это рассказ такого честного, благородного человека... Ну, только с Сахаровым в этом плане сравнимом. Во-первых, Григоренко — прекрасный боевой генерал, вся грудь — в орденах. Мало того, он и ученый, создавший при Академии им. Фрунзе кафедру кибернетики и руководивший ею. То есть, перед ним была зеленая улица. До маршала дошел бы — нет сомнений. Но, как и Сахаров, все послал к чертовой матери, как только понял весь ужас этой идеологии, в которую с юности верил. Повернул на сто восемьдесят градусов. Но весь этот мой монолог сводится к жажде получить его портрет.

— В Нью-Йорке Виталий Длугий и Леонид Пинчевский порой портреты пишут. А у Марка Клионского это почти специальность.

— Кстати, о Нью-Йорке. Я очень люблю зарисовки Голлербаха. Прекрасные, лаконичные куски нью-йоркской жизни.

— Виктор Платонович, заключительный вопрос. Вы сказали, что Вам нравится "Стрелец". Но что именно нравится и что, на Ваш взгляд, можно было бы сделать, чтобы журнал стал еще лучше?

— Мне многое нравится. И интервью, и воспоминания, и разнообразие в прозе и стихах. Журнал хорошо оформлен. А как улучшить? Не знаю. Очень важно, что вы вспоминаете старое, забы-

тое. Ну, вот, чем больше у вас будет найденного, прежде неведомого, и чем больше вы будете открывать новых имен, тем журнал будет интереснее. В общем, расширяйте палитру.

Взял интервью Александр Глезер  
Париж, декабрь 1984 г.

**ИЗДАТЕЛЬСТВО  
«ТРЕТЬЯ ВОЛНА»  
предлагает**

Чeki и денежные переводы  
просьба направлять по адресу:  
**ALEXANDER GLEZER**  
286 Barrow St., Jersey City, NJ 07302  
U.S.A.

**ПОТАЕННЫЙ  
ПЛАТОНОВ**

Сборник неизвестных и малоизвестных рассказов писателя. Составитель и автор предисловия профессор Михаил Геллер.  
180 стр. \$10.00

**ПОВЕСТЬ И РАССКАЗЫ**

**СОВЕТСКИЙ ПЛАТОНОВ**

## НЕПОВТОРИМЫЙ НОВАТОРСКИЙ ДУХ

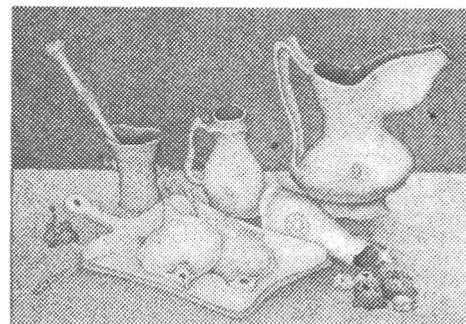
(О ТВОРЧЕСТВЕ МИХАИЛА ШЕМЯКИНА)

Определить значение современного художника и его будущее место в истории для искусствоведа весьма сложно, особенно когда художнику всего 40 лет. И тем не менее, в случае Шемякина играют роль такие весомые факторы, что чувствуешь себя вправе выносить бестрепетные суждения.

Представленные в этой книге работы являются лучшим доказательством того, насколько превосходна его техника. В отличие от многих живописцев, которые дополняют слабые технические навыки всяческими механическими приспособлениями, Шемякин демонстрирует во всех своих работах безупречную технику, наличие которой он относит за счет подготовки, полученной им в молодости в Советском Союзе. Он благодарен своим преподавателям в художественной школе им. Репина, привившим ему уважение к материалу и требовавшим безупречного технического исполнения. Эта серьезная подготовка позволила Шемякину овладеть самыми разнообразными техническими приемами живописи, рисунка, графики и скульптуры, причем в каждом случае он продемонстрировал свой неповторимый новаторский дух. Он изобрел и запатентовал новый способ воспроизведения текстуры, принесший ему всемирную известность. Из всех видов художественного творчества, в которых попробовал себя живописец, наиболее аристократическим ему представляется искусство рисунка. "Рисунок, — заявляет он, — есть основа всех основ, самый костяк искусства".

Старый Матисс, добивавшийся в своих рисунках такой чистоты и простоты, бывало, проводил десятки штрихов в воздухе перед тем, как коснуться бумаги, ибо стремился к тому, чтобы сложившийся у него в голове образ перенесся на кисть или на перо. А кончал он работу уже быстро. Шемякин действует по-иному. Он прямо пишет тушью по бумаге, и кажется, что линии без колебаний стекают с его пера. Рука его превращается в изумительный инструмент,

главенствующий и в то же время мгновенно повинующийся его рассудку: "Я рисую очень быстро, — говорит он, — однако моим импровизациям предшествует огромная работа мысли. Я рисую очень жестко: для меня идеалом художника является рука хирурга, оперирующего на глазе". Лучшей иллюстрацией абсолютной власти Шемякина над линией является последнее его творение: серия пастелей на черной бумаге. Эти большие линейные рисунки блистают великолепием. Потрясающая способность Шемякина создавать сложные линии, послушные его воле, вызывают в памяти иллюстрации ирландских монахов к "Бук оф келлс". Эта необыкновенная техника является великолепным инструментом для создания метафизических трансформаций художника.



"Натюрморт", бум./см. тех., 1967

Не исключено, однако, что концептуальный метод Шемякина достоин еще большего внимания, что именно он обеспечит ему важное место в истории искусства. Ибо Шемякин поставил перед собой дерзновенную задачу изменить курс современного искусства. В наше время мы видим господство того, что можно назвать шаблонным искусством: художники до бесконечности следуют определенному шаблону, известной формуле. Поэтому приходишь в волнение, столкнувшись с поистине творчески мыслящим художником, который не удовлетворяется последним своим успехом и неустанно ищет новые подходы, новые темы и новую технику. Шемякину выход из тупика видится в искусстве метафизического синтетизма, принципы которого он совместно с В. Ивановым

"Петр Первый и Кузьминский", акварель, 1983



разработал в середине 60-х годов в России. Начинает он с ясного изложения проблемы, перед которой стоят сегодняшние художники: "Я думаю, что на пороге двадцать первого века мы переживаем весьма важный момент. Пришло время синтеза, прошла пора эксперимента, а после синтеза, возможно, в искусстве наступит новая эпоха... Сегодня искусство в таком тупике... Художник должен отыскать в себе силы, достойные научного исследователя. Сделаны великие открытия в области техники, в медицине, в ядерной физике, а художник сильно отстает, топчется на месте".

Современная техника позволила произвести миллионы репродукций старых картин, тиранически вторгшихся в подсознание художников, многие из которых бессознательно повторяют работы своих предшественников. Шемякин документировал эти повторы для своих последователей и учеников. Он создал серию гравюр, на которых репродукции современных работ находятся бок о бок с почти идентичными "оригиналами", сделанными за много лет до того. Сделаны ли "новые" работы современным художником после того, как он познакомился с чужими картинами, или они

были созданы независимо от других, роли не играет. Дело в имитации. Никто из сегодняшних художников не способен избежать диалога с великими произведениями прошлого.

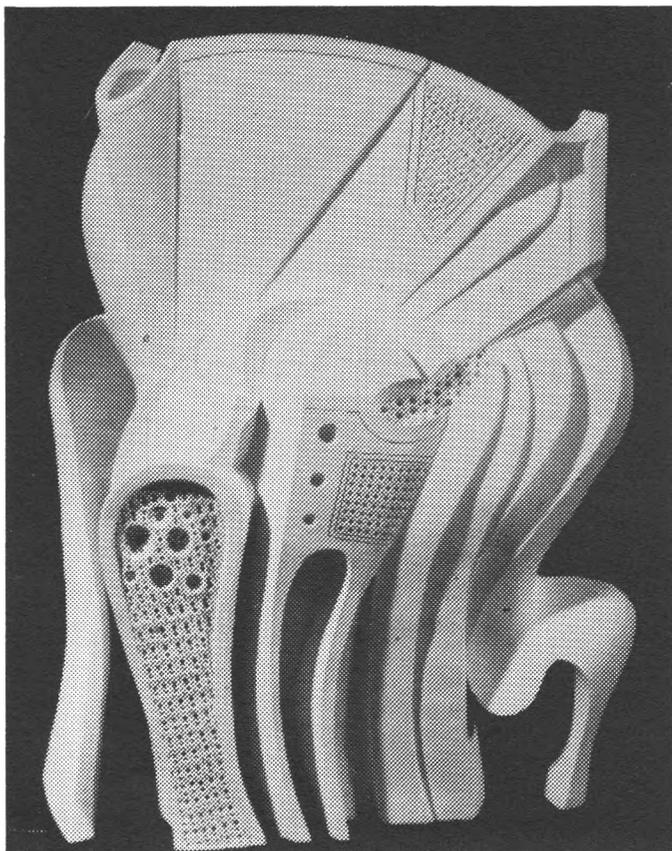
"Никто, — пишет Анри Мальро в "Л'Интемпорель", — не может представить себе художника нашей эпохи, для которого не существовало бы этого диалога". Для Шемякина этот диалог исполнен великого значения, и по этой причине он систематически изучает каталоги и подвергает анализу работы из своего "воображаемого музея". "Шемякин, — поясняет Вольфганг Фишер, — составил универсальную антологию формы, почерпнутую из художественных альбомов, каталогов, открыток, рекламных проспектов, старых гравюр и карт, работ по зоологии и ботанике, и т.п.... и в этой положительной Александрийской библиотеке формы он приводит свои метафизические трансформации и совершает свои метаморфозы изобразительной независимости... Изобразительные традиции со всего света, охватывающие все эпохи и культуры, для него суть вездесущие элементы, которые его своеобразное чувство цвета и текстуры открывает, собирает, перекладывает и заново сочетает, пленяя очевидца новой гармонии".

ей". И в этом — суть его исследовательского метода.

Шемякин взял на себя эти геркулесовы труды в твердой уверенности, что такой подход наиболее пригоден для выхода из тупика. Терпеливо, систематически и непреклонно прокапывает Шемякин, по своему выражению, "туннель" в двадцать первый век. Однако не рискует ли следующий этому подходу художник подпасть под власть всех этих произведений искусства? "Как может художник избежать тирании прошлого? — поинтересовался я. — Как может художник избавиться от подсознательного влияния чужих работ?" Ответ у Шемякина был наготове: он взял со стола одну из записных книжек, которые он всегда носит с собою, и сказал, что на мой вопрос он хотел бы процитировать двух художников. Первый — это китайский живописец шестнадцатого века Дун Си Чан, написавший в "Голосе искусства": "Когда прочтешь десять тысяч книг, пройдешь десять тысяч ли пути, и ум освободится от всякой пыли и грязи..." Второй художник — это живший в семнадцатом веке японец Нисакава Суkenобо, сказавший: "Надо внимательно изучать картины древних мастеров и уяснять их суть. Если ты сможешь одолеть это, то раскроется все сокровенное в их живописи... и вот тогда в твоих рисунках и картинах исчезнет связанность".

Шемякин положил блокнот, повернулся ко мне и спросил с обезоруживающей улыбкой: "Ответил я на ваш вопрос, доктор Одижье?" Позднее, снова говоря о своих исследованиях, он пояснил: "Прежде всего я интересуюсь проблемой метафизической фигуры... Я пытаюсь выяснить, насколько можно разрушить скульптуру молотком, чтобы она все еще сохраняла свое базисное начало... Поэтому в своих фигурах, где я пытаюсь достичь конечной абстракции, бесконечной абстракции, я пытаюсь создать такое напряжение, чтобы фигуры смогли появиться в новой материализовавшейся структуре. Я вспоминаю также слова Пола Клее, который сказал, что многие из вещей, которые кажутся нам сегодня очень странными, были бы вполне понятны и реальны, если бы мы рассматривали их под микроскопом. А художник тоже может зачастую представить или почувствовать, насколько по-другому будет выглядеть материальная фигура в другом измерении, в другом космосе, в другом пространстве. Я говорю об отыскании сути, а из нее — новых открытиях".

"Метафизическая голова", керамика, 1982



Вот как понимает Шемякин этот диалог с великими творениями прошлого: извлечение их творческой сути и воплощение ее в новых творениях. Как мифическая птица-феникс, каждая новая работа рождается из пепла других великих работ, которые она "метафизически трансформирует".

Всякий, кто смотрит на шемякинские работы в хронологическом порядке, должен обратить внимание на творческую интенсивность его поиска: изящество величавых сцен Санкт-Петербурга, ранние маски, книжные иллюстрации, натюрморты, коллажи и всевозможные эксперименты с текстурой, "Чрево Парижа", "Карнавалы Санкт-Петербурга", бронзовые скульптуры, метафизические трансформации, бумажные рельефы, пастели на черной бумаге — вот некоторые из поразительных поисков этого молодого художника. А из уже созданных им больших циклов я позволю себе сосредоточиться на трех, которые демонстрируют многообразие тем, подходов и материалов, используемых Шемякиным, и углубляют наше понимание его необыкновенных творческих способностей.

Недавно художник рассказал в интервью о значении "Чрева Парижа" и о том, как создавалось это произведение. "Чрево Парижа" Эмиля Золя было одним из моих любимых романов. Когда я приехал в Париж в 1971 году, большая часть центрального рынка была уже снесена, и сохранились лишь бойни. У меня оставался всего год. Я ходил на рынок и сделал пять тысяч фотографий. Меня заинтересовал момент, когда мясник взваливает тушу себе на плечи. Эта тема привлекала меня с того времени, когда я изучал фламандских и голландских мастеров. Меня всегда поражали действительно трагические и ужасающие стороны жизнеутверждающей тайны этих полотен. Когда я увидел процессию мясников в фартуках, как у хирургов, замазанных кровью, марширующих в электрическом свете, я вспомнил произведение Золя и был поражен двумя разными сторонами увиденного мною: с одной стороны, это тема трагедии и смерти, а с другой — тема утверждения жизни, — я видел лица этих мясников, и эти здоровые мужики улыбались, посмеивались и пританцовывали".

Создание "Карнавалов Санкт-Петербурга", благодаря которому художник получил прозвище "Принц Парижа", имеет еще более сложную предысторию. Одна из ключевых работ, необходимых

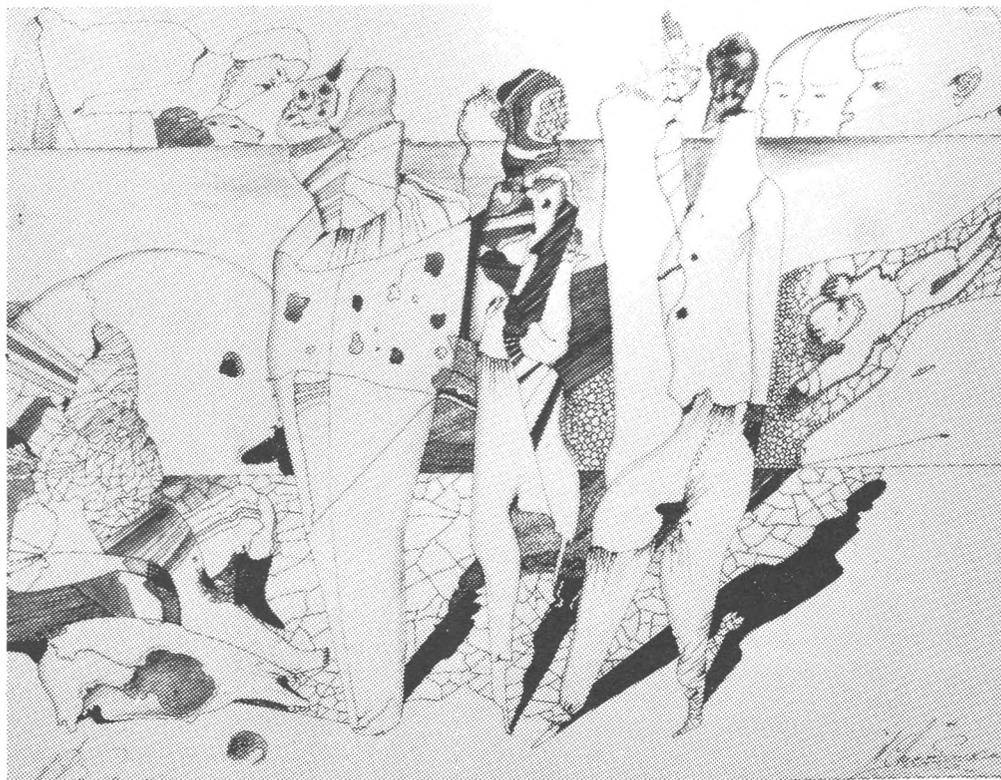
для понимания этой серии, была представлена на выставке в сан-францисском университете в марте 1983 года: коллаж, сочетавший вырезанные фотографии африканских масок с пририсованными телами. Художник полагал, что формальная работа, сделанная Пикассо с африканскими масками в начале нашего столетия, использовала всего лишь одну возможность. Шемякин предлагает другую. Сочетая эти африканские маски и маски австралийских аборигенов с разноцветными узорами и тропическими насекомыми с фигурами комедии дель арте, он вводит нас в странный новый мир, населенный прелестными и гротескными фигурами. Их неопределенные формы, их ошеломляющие цвета, отрицающие плоскость холста и одновременно отвергающие традиционную трехмерность, сочетаются с новаторской текстурой художника и всегда изящной и неуловимой линией и воссоздают для нас сумасбродные карнавалы, которые устраивал в Санкт-Петербурге Петр Великий, и которые, поясняет художник, образуют духовную основу, или подтекст этого цикла.

В настоящий момент Шемякин уделяет часть времени своим метафизическим трансформациям. Он объясняет это следующим образом: "Моя работа

в этой области поможет многим молодым художникам, которые еще не заразились ужасным недугом индивидуализма, и которые просто хотят узнать, хотят понять, как им дальше развиваться... Я делю художников на две категории. Есть художники, которые любят себя в искусстве, и есть художники, которые любят искусство в себе. Вторым в свое время моя работа может пригодиться".

Может показаться парадоксальным, что художник, которому пришлось бороться со столькими тоталитарными идеологиями, и для которого творчество есть выражение свободы, верит в весьма строгий художественный канон. Но Шемякин — верит. Метафизический синтетизм так же скован дисциплиной, как великая школа русской иконописи. Именно в рамках этой дисциплины творческое начало художника, вызванное к жизни эстетическими импульсами великих произведений прошлого и напитанное исследовательской работой, рождает для нас это сложное и интеллектуальное искусство. Многие критики не поняли, что метафизический синтетизм и метафизические трансформации не отрицают абстракции; наоборот — они неустанно нащупывают долгую и трудную дорогу, ведущую к конечной, безграничной абст-

Михаил Шемякин. "Метафизическая композиция", 1980





“Метафизический торс”, рельеф, бронза, 1978

рации. Как обнаружили в своих бесплодных поисках многие современные художники, коротких путей на этой дороге нет, и лишь равномерный, продуманный и терпеливый подход даст живописцу возможность приблизиться к ней. Экспонаты исследовательского собрания Шемякина дают нам некоторое представление об этом продуманном и будоражащем воображение творческом процессе. Они проясняют для нас связи между первоначальными интуитивными прозрениями и законченными творениями. Метод Шемякина служит подтверждением формулы Андре Жида: “Искусство рождается из ограничений и умирает от свободы”.

В 1980 году В. Фишер писал: “...великое достижение Кандинского в начале нашего столетия – прорыв от реализма к полной абстракции – теперь, когда наш век подходит к концу, переосмысливается для нашего времени Михаилом Шемякиным”. Как и Василий Кандинский, Михаил Шемякин приносит в искусство страстное желание глядеть вперед и упорную решимость дать своим современникам искусство, достойное великих творений прошлого. Однако его неизбывная страсть к искусству, его выдающаяся творческая сила, его методический подход и его блистательное техническое мастерство соединяются с великой скромностью: “Я всего-навсего маленький первопроходец, старающийся лопаткой прокопать туннель”.

Жан Одижье,  
доктор искусствоведения

Предисловие к монографии о творчестве М. Шемякина, которая готовится к печати. Публикуется в сокращенном виде.

### В издательстве «Третья волна» готовятся к печати следующие книги:

**АЛЕКСАНДР ГЛЕЗЕР. «РУССКИЕ ХУДОЖНИКИ НА ЗАПАДЕ»**  
Сборник статей о творчестве художников-нонконформистов. Издание иллюстрировано.

ок. 280 стр. \$ 17.50

**ОСКАР РАБИН.** Книга воспоминаний. Издание иллюстрировано.

ок. 300 стр. \$ 17.50

# РУССКАЯ МЫСЛЬ

**КРУПНЕЙШАЯ РУССКАЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА НА ЗАПАДЕ.  
ВЫХОДИТ С 1947 ГОДА.**

Новости из Советского Союза и материалы Самиздата.

Публикации в защиту гонимых.

Анализ политической ситуации в мире. Регулярные публикации материалов о борьбе с коммунизмом. Лучшее в западной прессе освещение событий в Польше.

Постоянные обзоры войны в Афганистане.

Проза. Поэзия. Публикации забытых и редких произведений.

Рецензии на книжные новинки и журналы. Мир искусства.

Жизнь российского зарубежья.

«Русская мысль» выходит по четвергам в Париже.

## Подписная плата на год

	Обычной почтой:		
	3 мес.	6 мес.	12 мес.
Франция	74 фр.	138	265
Все остальные страны	107	204	397

Воздушной почтой:			
Европейские страны.			
Северная Африка	119	228	445
США и Латинская Америка.			
Южная Африка	146	281	530
Австралия.			
Япония, Китай	150	290	570
Израиль, Иран	125	240	468

В цену подписки входит выходящее 6 раз в год приложение «Обозрение», аналитический журнал «Р.М.» под редакцией А. М. Некрича.

Адрес редакции: 217, rue Faubourg St. Honore, 75008 Paris.

Телефоны: 563-94-47, 563-21-83.

### американский юбилей и русские художники

Через год американцы будут отмечать юбилейную дату: сто лет статуе Свободы. Уже сейчас по телевидению то и дело мелькает знаменитое сооружение, одетое в леса — статуя ремонтируется, она должна предстать в день торжества перед зрителями в должном виде.

Свобода! Это сладкое слово свобода... Кто лучше нас, изгнанников и эмигрантов из СССР, особенно писателей и художников, может чувствовать и осознавать, что это такое — свобода. Для людей Запада свобода — естественное состояние, нечто, что дается с рождения, как воздух. За нее не нужно бороться, ее не нужно отстаивать, за нее не нужно умирать. А нам за то, чтобы быть свободными, приходилось и сражаться, и в лагерь идти, и терять родину. Солженицын и Ростропович, Григоренко и Буковский, Неизвестный и Аксенов, Войнович и Рабин... Разве оказались бы они на Западе, если бы не отстаивали свободу там, в нашем отечестве, подавленном тоталитарным режимом?! Так что не случайно осуществление идеи, связанной с юбилеем статуи Свободы, пришла в голову не американским художникам, а тем, кто познал, что такое коммунистическая несвобода.

Несколько лет тому назад художник Владимир Григорович обнаружил в Джерси-Сити, в Либерти стейт-парке, заброшенный деревянный вагон — три метра в высоту, тринадцать метров в длину. Как говорит Григорович, у него сразу появилась идея что-то с этим вагоном сделать, как-то его расписать. Тем более, что вагон этот вызвал у него множество ассоциаций. В таком вот вагоне он когда-то ездил на целину, в таких вагонах отправляли на фронт солдат, поезда

с такими вагонами увозили на Восток арестованных людей и целые ссылаемые народы.

Долгое время идея расписать вагон не находила воплощения. Она то забывалась, когда художник работал над картинами, то всплывала вновь. Но, во всяком случае, избавиться от нее он не мог, да и не хотел.

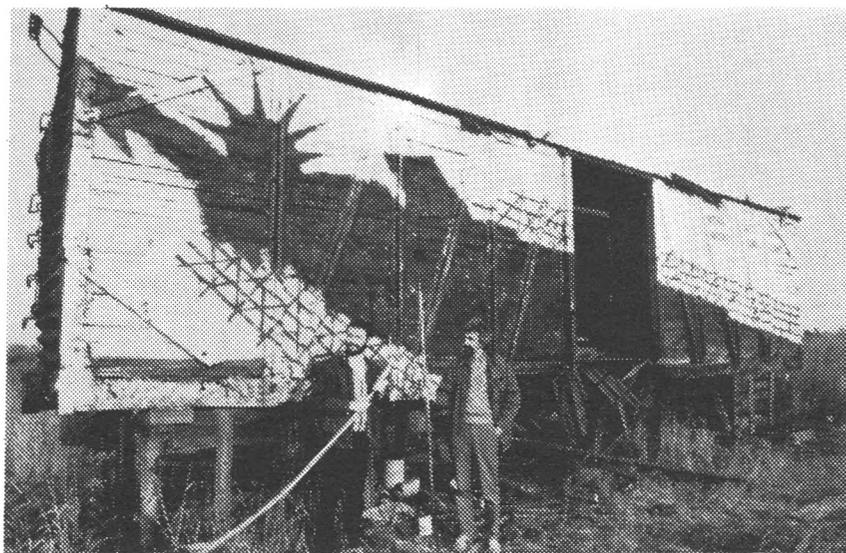
В конце прошлого лета Григорович решил так или иначе реализовать мучивший его замысел, и пригласил принять в этом участие скульптора Леонида Лермана. Вновь и вновь приходили они к одинокому вагону, стоящему, образно говоря, в чистом поле. С одной стороны его возвышались небоскребы нижнего Манхэттена, на другую — глядела статуя Свободы. И двух мастеров как-то осенило: абстрактная идея расписать деревянную поверхность вагона превратилась в конкретную. Вот она, статуя Свободы. Вот как тень ее может лечь, нет,

более динамичное слово, упасть на одну из сторон вагона. А сквозь черную дыру, снятые вагонные двери, если смотреть с определенной точки, — глядел на них тоже символ Америки, ее свободы — взметенный вверх силуэт знаменитого небоскреба — Эмпайр-стейт-билдинг, тень которого в воображении художников естественно ложилась на другую сторону вагона.

Когда идея обрела конкретность, осталось воплотить ее в жизнь. Три недели работы, ведра — не преувеличиваю — изведенных красок... И вот стоял среди трав и бурелома деревянный вагон, а теперь стоит произведение искусства. Как хотите, назовите его: объект, картина с двумя поверхностями, две картины. Не важно.

Статьи о работе двух русских художников появились во многих газетах, посвятило ей передачу нью-йоркское телевидение. "Независимо от того, светит солнце или нет, — писал журналист Роберт Лариш в еженедельнике "Джерси Джорнэл", — тень от статуи Свободы остается в Либерти-стейт-парке в Джерси-Сити. Это результат работы двух живописцев, Владимира Григоровича и Леонида Лермана, эмигрантов из России".

А. Давыдов



**«Стрелец» принимает объявления от издательств, книжных магазинов, музеев, галерей и другую рекламу, связанную с литературой и искусством.**

**Расценки на рекламные объявления в рамке**

**1 дюйм на одну колонку — \$7.00**

**Половина страницы — \$100.00**

**Четверть страницы — \$50.00**

**Целая страница — \$200.00**



